

Марк Харитонов

ВОЗВРАЩЕНИЕ НИОТКУДА

роман



ImWerdenVerlag
München — Москва
2008

Роман Марка Харитонова «Возвращение ниоткуда», завершённый в 1994 г., был опубликован в журнале «Знамя» (1995, №1—2) и в московском издательстве «Вагриус» (1998). Библиотеке текст представлен автором впервые вместе с «Послесловием на развалинах» и никогда не публиковавшимся авторским комментарием из книги «Стенография конца века» (дневник работы 1990—1994 гг.).

1. Голоса в пустоте

...Так во сне осознаешь, что это сон, но тревога и тоска от знания не уменьшаются.

Чувство, будто несешься, не ощущая ветра движения — в бесплотной пустоте без верха и низа, без ориентиров по сторонам.

«Кто их просил? Я их об этом просил? Я их просил меня вытаскивать?»

«Вы о чем?»

«А вы еще не поняли?»

Нет, не осознаешь, но догадываешься — или надеешься. Внятные, не громкие и не тихие голоса звучат внутри тебя и одновременно обособленно.

«Вы еще не поняли? Вы не поняли, где мы и что с нами?»

«Не знаю... Я перестал понимать... не помню. Мозги как засветило... добра».

«Ничего, поймете. Вспомните. Но какие сволочи, а? Кто их уполномочил? Что же я, не имею права распорядиться даже этим? И никаких следов. Посмотрите на меня. Вот здесь. Видите что-нибудь? Ни следов, ни остатков боли».

Движение в неподвижности. Выявляются, слабеют пятна... так приходишь в себя после наркоза. Открыты у меня глаза или закрыты?.. Я как будто уже это однажды читал или сам сочинил: историю о клинике для не до конца состоявшихся покойников, самоубийц, жертв несчастного случая, возвращенных из-за черты, но изъятых навсегда из общей жизни, перенесенных в непонятное пространство, как бы по ту ее сторону, с памятью о чем-то предельно важном, чего уже не рассказать оставшимся на их языке. Фантастическое изобретение, загадочный приют, медицинский или какой-то еще эксперимент. Попытка проникнуть в смысл, недоступный для повседневного живого ума, по-

трясенность и еще не осмысленный сдвиг. Чувство нового понимания и нового бессилия: ничего уже не изменить, и не объяснить того, что тебе на миг вроде бы открылось, даже если удастся найти слова — голос никуда не пробьется.

Это уже со мной было. Попытка вспомнить.

«Но нельзя же так. Есть тут кто-нибудь? Какой-нибудь персонал? Эй!»

Всю жизнь мне приходилось разбираться с собственным воображением. Это не было просто сочинительством: для меня это был способ существования, одинокого, доступного осмысления жизни, с которой я иначе не умел совладать; это приносило в нее многомерность и запахи, и слюну, натекавшую под язык, — как будто эти запахи и подробности существовали в действительности помимо меня и теперь только оживали в воспоминании, чем дальше, тем явственней, так что время спустя я уже сам переставал различать, что было на самом деле... то есть в каком смысле на самом деле? — вот где уже начинался вопрос. Все это, разумеется, про себя, не вслух — если не считать времен, когда я сочинительствовал для больничных товарищей или соседей по санаторской палате; это была моя роль, это обеспечивало мне место среди других. Но слишком часто приходилось пугаться потом, когда то, что казалось мне самому выдумкой, проступало из пор действительности, словно всегда в ней на самом деле присутствовало, неосознанное — или, может, зарождалось от моих слов, прорастало, обретало плоть, чтобы случиться вдруг со мной или не со мной; голоса, обособившиеся от меня, заводили речи, которые мне самому не могли бы прийти на ум, и вот они окликали меня, упрекали, чего-то ждали и требовали, и я не знал, куда от них спрятаться, безнадежно блуждая, как в чаще, среди невнятных страхов, смутных теней и камертонной дрожи, пока доктор с черной сирийской бородкой не протягивал мне руку помощи и не возвращал в свой кабинет, чтобы потребовать отчет о моих странствиях, а у меня застревали слова в самом начале языка, у горла.

«Ты чего молчишь? Глухарь, что ли?»

«Не, уже с ним разбирались. Просто заика. Только сдвинутый малость».

«В каком смысле?»

«В таком. Глянь, как озирается. И губа отвисла».

Причем тут губа?.. Я не был заикой, мне трудно давался только начальный приступ, дальше с разгону могло идти вполне гладко — до нового приступа, но редко у кого хватало терпения меня дожидаться.

«Хоть бы кто объяснил... намекнул. Надо кого-то найти. Сдвинуться с места».

Вот так.

Лежу я или стою? Иду.

Невесомость тела.

Я не вижу идущего, но как двойник, изнутри ощущаю прикосновение паутины ко лбу, ощущаю пяткой хруст известки.

Свечи или светляки, тусклые, как намек, пятна, бумажный шелест, голоса легкие, как шум пламени.

«Сейчас, сейчас, я объясню, тут должно быть написано. Только найти... сейчас... все завалено».

«Какая теперь разница».

«Так все внезапно, вдруг. Не успеваешь понять».

«Ничего, теперь будет время».

«Какое время! О чем вы говорите!»

«Не понимаю».

«А ночь сейчас или день, вы понимаете? Весна или осень?»

Шорох, шепоты, хруст под ногой или в костях головы, вокруг ушей, запах разлагающейся бумаги, предчувствие тошноты или обморока.

«А, ну конечно! Вот ты где! — защекотало щеку дыхание. Кто-то, неслышно приблизившись сбоку, обхватил мою руку своей, оплел вдоль всей длины, прижался волосатой щекой к щеке так плотно, что я не могу отстраниться, взглянуть, кто это, — и нету не то что сил — воли; я, впрочем, и так догадываюсь. — Ничего лучшего не придумал? Да ты не дергайся, не дергайся, чего уж теперь. Спрятаться захотелось? Хоть как-нибудь? Улизнуть? Дезертировать? Бросить всех, кто теперь без тебя не может? Ведь что-то в таком духе уже было, неужели не помнишь? И чем обернулось? Где папа, мама? Ну? Думаешь, все еще как-нибудь обойдется само собой? Окажется опять игрой ума? Пустячком? Литературным сюжетом? Что это ты нагородил? Эксперимент, изобретение, приют. Ах, как красиво! Даже теперь надеешься ускользнуть от понимания. Нет уж, дружок, так просто не выйдет. Придется рано или поздно дойти до конца, ты знаешь, что я имею в виду. Чего уж теперь пугаться... хотя, конечно, есть чего, я понимаю. Но ведь не о тебе одном речь. Ну?... Да очнись же, наконец, нельзя так себя терять. Надо же все-таки вспомнить по-настоящему, восстановить... Попробуй еще раз»...

Из ротового отверстия дышало лекарством.

Я не испытывал тоску, я был тоской, ее веществом; но я не мог сказать идущему слова предостережения или ободрения, хотя,

казалось, помнил наперед каждый его шаг, его подошвой ощущая известковый хруст — как будто мне предстояло заполнять собственный след без возможности свернуть в сторону. Бесцветный невнятный свет; висячий замок оброс ржавчиной, как ракушками, ключа от него нет и быть не может, но ты уже знаешь, что можно просто обойти дверь стороной... ты уже спотыкался об эту кипу газет, перевязанную бечевкой, тут их завал, мягкие торосы, надо пробираться.

В подвале, куда людская очередь сносила, как дань, связки старой бумаги, которая должна была превратиться в продукт, убаготворяющий желудок и душу.

Сам я это придумал или прочел на листке, подобранном в грязном снегу?

Стальные пеньки во рту сточены почти до корней. От стриженной головы, как белые черви, расходятся присоски и провода.

«Кто их об этом просил?»

«А кто нас когда спрашивал?»

«Вот именно».

«Нас спрашивали, хотим мы появляться на свет или не хотим?»

«Остроумно».

«Как будто на нас опыт поставили».

«Хотел бы я знать, кто».

«Какая теперь разница».

«Хотел бы я ему в глаза посмотреть».

«Как будто попробовал — и не получилось».

«Нет, нельзя же так... совсем без смысла. Что-то нам должны объяснить».

«Думайте, если вам это еще важно».

«Слова, ничего больше».

«Лучше не знать».

«Клочки бумаги».

«По старым ценам».

«Так и не поймешь ничего».

Бесцветное понемногу наливается краской. Сейчас вспомню, сейчас вспомню. Что это и зачем я здесь? Нет, другое.

Туловище в полосатой пижаме зависло наклонно, нижняя часть растворена до прозрачности.

Полоски желто-коричневые.

Рот без зубов, ресницы склеены гноем.

Возникает с новым шагом внезапно, сразу совсем близко, точно выныривает из тумана, а со следующим шагом в нем же исчезает, не удалившись — даль остается закрыта. Но туман этот прозрачен, в нем все переливчато, неустойчиво: трепет воздуха над разогретой пашней, вот с чем это можно сравнить.

2. Обрывок

Доктор Казин меня учил не напрягаться, когда пытаешься вспомнить: это все равно не поможет. Думай о чем угодно или лучше всего слушай музыку — вдруг вспомнится само, когда и не ожидаешь. Что с тобой, в сущности, произошло: ты подобрал однажды во дворе грязный листок бумаги, а потом вообразил, что это послание к тебе, хотя имени твоего там не значилось. Можно ведь сказать и так. То есть почему вообразил? В том-то все и дело: это оказалось действительно ко мне, и даже имя, если угодно, там было, просто я не сразу понял, что это ко мне, только почерк вначале заставил напрячься. Беда в том, что листок почти сразу оказался потерян, то есть, правильной сказать, уничтожен, я просто не успел по-настоящему прочесть, вникнуть в смысл, и, когда меня потом спросили, что же там было, не сумел вспомнить подлинных, единственных слов. То есть мне лишь казалось, что я понимаю эти невнятные карандашные каракули: так вроде бы понимаешь иные стихи, сгустившие больше, чем мысль, но время спустя не можешь объяснить, о чем они, а тем более пересказать, воспроизвести. Западает для начала лишь смутное чувство; чтобы его прояснить, надо бы перечесть все еще раз, запомнить наизусть и потом вникать, перебирать, сопоставлять. Только другого раза не оказалось, вот в чем дело.

Но если так, можешь ли ты утверждать, что там был смысл? Может, он и привиделся тебе лишь задним числом, после того, как листок был утерян, а потом даже стало казаться, что ты вспоминаешь написанное — как будто написано там было в самом деле про то, чему предстояло случиться, и случиться потому, что ты не сумел что-то вовремя принять, вместить в свой ум, хотя все равно пришлось; как будто вспомнить значило что-то прожить.

Дурацкое ощущение, что говорить. Как будто жизнь оказывается попыткой что-то в конце концов вспомнить.

То-то и оно. Я ведь мог с чувством понимания читать в маминой библиотеке и какой-нибудь незнакомый учебник с формулами — конечно, украдкой, чтоб не привлечь внимания мамы и не зародить у нее сомнения, был ли все-таки толк от многолетних стараний врачей. Может, в этом чувстве и впрямь

было что-то идиотическое; но ведь потом иногда отзывалось, иногда оказывалось, что я и в самом деле...

Макулатурный ошметок, оброненный кем-то из очереди или отлетевший при погрузке в машину, двойной лист из книги или брошюры. Трудно сказать, что заставило меня наклониться, поднять эту бумажку из снежной жижи. В свете качающегося фонаря я различил старомодные буквы титула: «Перемьна сознания» — с фигурной виньеткой, но без указания автора. А пониже, в правом углу — необычный штемпель: рисунок сеятеля в лаптях, рука отведена в замахе, под ним подпись: «Общедоступная библиотека Э. Мужейль».

Я ведь в тот миг даже не осознал, что зацепило меня в этой фамилии. Повторяющееся чувство: будто уже читал, видел это во сне или в другом времени, уже пытался вспомнить, как сон, каждую подробность в надежде восстановить утраченное. Тени падающих снежинок снуют бестелесными мухами по вспыхивающим крупинкам. Карандашные каракули на обороте я различу лишь дома, при лампе, но и тогда еще не пойму, сколько сошлось тут на самом деле.

И ведь ни на ком другом сойтись не могло, вот ведь оно что. Другой просто не наклонился бы подобрать грязный листок, а подняв, бросил бы обратно. Другой не разобрал бы каракулей, не стал бы их разбирать. Сойтись могло — или должно было — только на мне. То есть что значит должно? Ведь мог я в тот вечер вообще не выйти во двор? мог взять чуть в сторону, пройти другой дорожкой? мог отвести взгляд. Вот, снова чавкает под старыми ботинками (ступни обернуты газетами для сухости и тепла), снежинки превращаются в капли, еще не долетев до щеки... попробуй ступить иначе. Цепочка длинных темных следов на освеженной белизне... Нет, по-другому не движутся ноги.

Дурацкий поворот мысли, я понимаю. Так в детстве неизбежно упираться в недоумение: а если бы не встретились твои родители — мог ли ты не родиться? или родился бы в другом облике? и как это мог быть не ты? С такого рода вопросами людям положено справляться своевременно; у меня с возрастом недоумений лишь прибавлялось. Я уже привык к чувству, что многого в этой жизни не понимаю, причем самых обычных вещей. Может быть, потому, что из-за долгих болезней слишком большую часть детства пришлось провести по больницам и санаториям. Хотя, конечно, не только поэтому. Многое, для других очевидное, требовало от меня самостоятельной работы ума, то есть скорей опять же воображения — чтобы не задавать каждый раз дурацких вопросов. Себя-то я не стеснялся.

Взять хотя бы эту очередь перед подвалом для приема старой бумаги. Она стояла под нашими окнами в любое время суток. Раньше занимали с утра, потом сдвинулись на ночь, и вот уже когда ни глянешь, кто-то греется в темноте у костерков, топчется, обхлопывая рукавицами бока и подмышки. На снегу

перевязанные шпагатом пачки бумаги. Старой бумаги, которую надо было непременно отдать, получив взамен, кроме денег, крохотные полоски талонов. Самым важным были талоны, это я уже готов был понять. Перед открытием пункта начиналось движение упорядочивания, очередь вытягивалась в длину, некоторые ее части не сразу попадали на правильное место, тогда возникал шум неблагополучия. Я смотрел из окна, как из инопланетного иллюминатора, пытаюсь проникнуть в подоплеку этой самоотверженности, словно в чужой сон. Пар дыхания, заиндевелые брови, платки, почти скрывающие лицо, чернильного цвета номера на тыльной стороне кисти, у основания большого пальца, вьедшиеся в кожу навечно, как татуировка. Что заставляло их мерзнуть в темноте, в пляшущих отсветах? Обиходные человеческие действия бывали для меня загадкой, большей, чем явления природы, сполна объясненные в учебных книгах. Особенно если над ними задуматься. Приходила на ум мысль о неумолимом природном инстинкте, подобном весеннему гону животных, который заставляет, терпя все тяготы, сносить в заветную кладовую, как взятку, вещество будущего пропитания. Краем уха я улавливал разговоры, что в этом месяце талоны опять не отоварят и пасту будут разыгрывать в лотерее. Но может, я что-то не так слышал, не так понимал, не так ставил в связь. Своим совокупным, вытянутым в длину мозгом очередь в любом случае знала что-то, о чем неприлично было даже спрашивать, чтобы очередной раз не показывать себя дураком.

Я и не спрашивал. Я знал, родители предпочли бы, чтобы я не вступал в разговоры даже с соседями. Мои болезни остались в прошлом; здесь, в другом городе, никто о них не знал и по мне заметить бы не мог. Им хотелось на новом месте зажить с новой страницы, и это ведь казалось уже возможным. Гулял я во дворе только чтобы подышать воздухом и надежней всего чувствовал себя среди домашних стен, точно они защищали мозг и все тело от какого-то беспокойного проникновения.

У нас ведь даже телевизора дома не было — на всякий случай. Слишком памятны были приступы моей необъяснимой чувствительности, когда я вскрикивал от укола вместе с соседом за больничной стенкой и угадывал смерть в отдаленной палате, как это бывает с животными; когда я слышал голоса непонятно откуда и видел то, чего видеть не мог. Меня даже ради опыта пробовали ограждать от предполагаемых излучений металлическими экранами; об успокаивающих лекарствах и говорить нечего. В конце концов справились, заглушили; можно было считать это делом прошлым.

Но что-то похожее на укол знакомой дрожи коснулось меня в тот миг, когда я положил оболочку книги с выпотрошенной середкой под настольную лампу. В ярком свете полуоторвавшаяся от титула, в разводах влажной грязи, пустая половинка оказалась отнюдь не пустой. Она с обеих сторон была исписана бледным карандашом, торопливым густым почерком — и этот почерк был мой!

То есть конечно не мой, но меня кольнуло странное ощущение сходства. Дело в том, что у меня почерк ужасный, про такой говорят: как курица лапой; его никто не мог разобрать, кроме меня. Но этот я разбирал свободно, как лапу другой курицы, расшифровывая, как свои, даже буквенные скорописные сокращения. Затруднения вызывала лишь карандашная бледность.

Много раз потом мне казалось, что достаточно прикрыть глаза и сосредоточить память, чтобы на внутренней пленке век проступило фотографически запечатленно, пусть и нерезко: еще усилие, и можно сфокусировать, вспомнить, перечесть. Вот, в самом деле, среди карандашной невнятицы проступает еще один расплывшийся штамп: из первых букв клякса, как раздавленное черное туловище, потом вроде головки с усиками «ОСХ. 3-е отделение». Что-то вроде этого. Дурацкая наклепка на обороте листа. Как метка на больничном белье. (Почему-то возникла мысль именно о больнице... запах дезинфекции и мочи, стриженная под ноль голова, байковая пижама цвета плохих чернил)... Но может, у меня и тут сбило память, может, я перепутал буквы. Уже не уверен. В таких вещах я никогда не был уверен. А карандаш и вовсе бледен — не разглядеть.

3. Память о будущем

— Тут проблема не просто в памяти, — говорил, оборотясь к умывальнику, доктор — в тот раз его звали доктор Казин, и я оставил за ним это имя, даже когда он сам пробовал называть себя иначе. Одно время у него была борода, будто наклеенная по низу лица полоска черной бахромы; тогда он еще обращался ко мне на «ты». Я придумывал долгие разговоры с ним, да он и сам любил порассуждать вслух, может, для проверки собственных мыслей — расхаживая по стерильному кабинету, где сияли никелем и белизной пугающие приборы и самый страшный из них, с проводами и резиновыми присосками, точно парик Медузы, чтобы вытягивать из-под черепа скрытые мысли. Считали он, что при исследуемом существе можно говорить, не боясь понимания, — или, наоборот, хотел именно заронить в меня что-то? За окном плавали среди зелени, как мальки за аквариумным стеклом, крупные тополиные пушинки. — Ты умеешь запоминать, что нужно, не хуже других, к уроку, например. Просто за ненадобностью это потом наглядней, чем у других, уходит, как будто растворяется. Но не окончательно, то-то и оно, что не окончательно, и может проявляться, всплывать иногда самым фантастическим образом.

Да, это я сам знал: не исчезает, а лишь как бы погружается вглубь, теряя при этом отчетливость, становясь скорей музыкальным чувством или тоном. Этот тон мог отозваться потом резонансом узнавания, или наоборот, дребезжа-

ла фальшь, неточность, несовпадение, это я умел распознать, хотя не всегда мог подтвердить свое чувство внятным обоснованием. Такое устройство памяти обеспечивало своего рода свободу — когда, например, читаешь книгу второй и третий раз, словно впервые. Не всякую, разумеется; большинство исчерпывалось разовым использованием, как раскрытие убийства в детективе: сколько ни повторяй, ничего не прибавится. Как в телефонном справочнике, напоминая тот же, пусть и забытый номер. Нет, я имею в виду книги, где, открыв в любой раз любую страницу, озираешься, словно в преображенной местности, обнаруживая прежде не виданное или не отмеченное сознанием. Где-то вокруг целая страна, Вселенная чьей-то жизни, которая становится твоей Вселенной — ты каждый раз привносишь сюда все больше от себя, от своего нового опыта, не всегда осознавая, откуда что взялось. Никто, кроме тебя, этого бы так не увидел, вот в чем дело, другой найдет там другое. Так возвращаешься в прожитую однажды жизнь, которая оказывается богаче, нежели казалось. Иные подробности ты узнаешь по прошлому посещению: разветвление дорожек, метину на бетонной плите — но вот в окне выявляется лицо, прежде бывшее пустым пятном, теперь в нем проступают черты, пробор прически, выбившаяся прядь, родинка на щеке, проявляется узор занавески, тень облака, тень мысли — твоей мысли, новой или забытой; но облако не может быть совсем тем же! Ты узнаешь голос (катится по камню серебряное колечко), он еще отзовется дальше, не здесь, ты ведь даже как будто помнишь конец — но о нем пока можно не думать, еще есть время, и вдруг еще обойдется как-нибудь по-другому... в любом случае уж тут от тебя ничего не зависит, не надо смущать себя дурацкими мыслями. Если угодно, конец всегда известен заранее, один и тот же для всех сюжетов, любой миг может оказаться последним, хотя и про это по-настоящему никто не знает, эти слова принимаются лишь как условность — стоит себе это напомнить, и прожитая однажды история читается совсем иначе; теряет значение даже последовательность времен; следствия и причины становятся равноценны и одинаково непоправимы, каждое мгновение оказывается неисчерпаемым — извлекаешь из него, как фокусник из шляпы размером не больше собственной головы, ворох за ворохом: целые цветники заполняют сцену, зал, окрестности. И ничего не повторяется, сколько ни возвращайся. Как в жизни.

Или, как в жизни, оказывается вдруг, что вернуться-то некуда, что даже второго раза не будет. Провал, пустота, растерянный испуг, предчувствие вины, и бесполезно оглядываться, никого уже не дозовешься. Знать бы заранее.

Да хоть бы и знал! Жизнь можно рассматривать, в конце концов, как череду потерь, из них она состоит, с этим надо смириться, по условию. Облегчение, может, именно в том, что мы живем по сути беспamięтно — ведь нельзя сосредоточенно осознавать каждый бесконечный, бесценный, невозвратно исчезающий миг, это дается лишь редкими вспышками, остальное именно растворяется, как выразился мой доктор. Мы живем в первый раз как будто на черном — получается так; лишь потом усилие ума и памяти, подобное творче-

ству, позволяет нам повторить, вернуться, осмыслить, заполнить хоть некоторые пустоты, дорости хоть на мгновение до самих себя. Нет, не повторить, повторить ничего невозможно, потому что и мы уже не те, и воспоминание преобразено. Вспомнить — значит не найти, а воссоздать что-то, переводя на язык нового состояния, порой не узнавая, даже не подозревая первоисточника: откуда это? — а может, боясь узнать...

Скрип трещины, расползающейся по стене. Отзвук пустоты под ногами. Белые черви сосут память из мозга. Запах испорченной канализации, прелой бумаги, потных портянок. Тошнота, поднимающаяся не из желудка, а откуда-то из-под сердца, как тоска...

— Мы в сущности не забываем ничего, — продолжал объяснять мне доктор Казин меня же самого словами, которые я задним числом вкладывал в его полные, блестящие, словно от жира, губы. — Даже того, что запало в нас неосознанно, без понимания. Не понимаем, а сердечко почему-то дрожит, верно? Что-то оказывается растворено у нас чуть ли не в крови, как соль древнего океана, где мы когда-то плавали, точно в материнских водах, дыша жабрами — и видели сны, быть может. А? И может, не только свои? Вот где самая-то загадка! Не всегда поймешь даже, что и как ты усвоил с чужих слов. Каждый раз приходится извлекать что-то заново, из себя, осмысливать и решать собственным усилием, на свой лад, вот ведь что существенно.

(То-то и оно. Доходило до смешного: временами я как будто забывал простые слова, сам смысл хорошо знакомых вещей, и тупо, открыв рот в попытке вспомнить, смотрел на белую трубочку в губах человека, выдыхающего дым... Или наоборот, вслушивался в выразительное, словно членораздельное, кошачье мяуканье, как в язык, который знал, но запамятовал; еще немножко — и смогу разобрать)...

— Но ведь тут еще и другой вопрос, — вдохновлялся Казин: — откуда в нас что берется? Откуда вдруг наши так называемые фантазии — о том, чего мы ни видеть, ни испытать не могли? Все эти видения наяву и во сне, никак не связанные с нашим опытом? Почему они именно такие, а не другие? Говорят, мы просто иногда комбинируем, видоизменяем знакомое, пусть даже не осознанное или забытое, составляем на пробу гротески. Согласен. Но всегда ли это продукт лишь внутренней мозговой работы, переработка лишь собственного, так сказать, достояния? Не знаем ли мы на самом деле больше, чем может храниться у нас вот тут? Тем более у такого, как ты. Вот чем ты особенно интересен. Из ничего не может ничего возникнуть, слышал про такой закон? Даже в мозгу. Не думаю, что твой пример это опровергает. Может, то, что нам кажется работой воображения, не совсем произвольно, может, оно сигнализирует нам о чем-то, чего нам иным способом не дано ни уловить, ни представить? Ведь помимо него разве мы, в сущности, можем знать, что такое жизнь? Из чего мы возни-

каем и куда уходим? Что такое наше сознание, наш разум, слова хотя бы вот этого нашего разговора, что такое время и бесконечность?.. да что там! Для объяснения ввели когда-то понятие Бог — но знаем ли мы на самом деле, что этому понятию соответствует в так называемой реальности? И что такое тогда эта реальность, если каждый рождает ее в себе по сути заново, причем вовсе не так, как это виделось каким-то первоначальным авторам? Я хочу добраться до источника, доказать или опровергнуть его существование, не более, не менее, выявить связь между ним и тем, что нам доступно, так сказать, на выходе, причем объективно, с помощью вот этих приборов... как бы тебе это растолковать проще...

Одновременно знать и не знать, помнить и не помнить, понимать и не понимать.

Еще ничего не произошло. Почему же это чувство тревоги или вины — именно вины, а не бессилия перед неизбежным? — как будто главная причина всего, чему предстоит произойти, внутри тебя, в изъяне твоей собственной ущербной мысли, одновременно трусливой и своевольной, которую ты не умеешь ни переиначить, ни остановить, потому что, может, боишься до конца додумать или вспомнить, хотя сам называешь это другими словами, и все надеешься обойти, отвернуться, свернуть...

Это не обо мне.

Невнятное бормотание, ты сам уже не уверен, чье. Отголоски книги, от которой осталась лишь оболочка с титулом, использованная уже как последняя подручная бумага за неимением другой. Записка из бутылки, где буквы размыты не водой, а неготовностью твоего ума. набросок сюжета, выписки или заметки на тему неизвестного тебе, исчезнувшего текста, возгласы удивления, как будто писавший узнал свое. Что-то можно понять, лишь если переменить сознание. Только через себя, даже вопреки очевидности, вопреки достоверностям чужого разума. Поспешные, лихорадочные строки, вспышки сгущенной, слишком сгущенной мысли. Семечко, в котором уже содержатся корни и ствол, и шелест каждого будущего листочка, и вся пятисотлетняя будущая жизнь, но пересказать ее обычными словами — значит прожить эти пятьсот лет. Все уже произошло, мы только не способны это вместить, воспринять, не способны осмыслить того, что окружает нас в любой миг, каждого в отдельности и всех вместе, нам не хватает какого-то свойства ума для подлинного усилия, хотя потом будет не раз казаться, будто мы узнаем когда-то сказанное о нас. Чувство родственной мысли, искавшей другие слова — но о том же. Попытка прорваться, вырваться из мозговой тесноты. Буквенный скорописный шифр. Клякса раздавленных внутренностей, след нераспознанного опасного насекомого. Чувство встречи, предшествующее смыслу. Пока не дойдешь до конца, ничего не пой-

мешь и не сможешь. Трепетные бессильные огоньки. Понимание, которое невозможно передать. Прозрачный туман.

4. Переплетения

Конечно, ни для кого, кроме меня, этих бледных каракулей на листке не существовало — и уже не будет существовать никогда, разве что я сумею вспомнить и воспроизвести. Их никто не сумел бы прочесть, даже если бы обратил на них внимание. Для мамы это была не более чем книжная порча, которую следует стирать ластиком; она сквозь них углядела на листке свое... Столько тут сразу сошлось, столько связалось потом. «Что ты опять подобрал? Зачем ты это принес домой?» — начала она голосом скорей обреченно-усталым (после работы), чем раздраженным, как человек, привыкший к выходкам своего чада, все еще словно не вполне взрослого, способного притащить в дом хоть полураздавленного воробья, не говоря о неодушевленной дряни — и я не сразу уловил перемену ее тона. «Что это?.. Где ты это нашел?» Мне показалось, что не вполне просохший листок затрепетал в ее пальцах. «Только это? И все? Больше ничего не было?» Я, как всегда, не успевал протолкнуть ответ, да слова были и не обязательны, и даже мамины слова опережались не то чтобы догадкой, но чувством, будто я что-то подобное сам думал — будто я до ее объяснений понял, чья фамилия была на штемпеле с сеятелем, не случайно же она меня зацепила, я ее откуда-то знал, даже если она не звучала при мне вслух — только не сразу вспомнил.

На самом деле я, конечно, не понимал маминого волнения — да и поняла ли сразу она сама, что значит для нее эта находка? На щеках проступил румянец. Было непривычно видеть, как она ходит по комнате, прижимая то и дело маленькие кулачки к белым кружевам у горла, которые делали ее похожей на школьницу с образцово отглаженным воротничком; никогда она так не говорила — не то чтобы со мной — при мне. Со мной обычно не говорили всерьез; меня следовало беречь от излишнего знания, даже от газет, которые мама не выписывала на дом, а читала у себя в библиотеке (заодно экономя). Тем более, я мог еще брякнуть это лишнее при посторонних. Привыкши стесняться своих вопросов, я предпочитал домысливать; но мне в самом деле казалось, я откуда-то уже знал, я слышал уже про эту мамину бабушку, меценатку и деятельницу просвещения, передавшую когда-то свою библиотеку в дар городу, из которого семилетнюю маму увезли однажды поспешно, словно от опасности, не объясняя причин бегства, даже не объяснив, что это бегство. Ей, как и мне, лучше было не знать лишнего, достаточно было усвоить, что бабушкину фамилию не следует поминать вслух. Да и зачем, если у тебя совсем другая фамилия, если вообще ты совсем другой, отдельный человек... разве не так?

Мне казалось, я способен был это если не понять, то почувствовать. Иных вещей проще вовсе не знать, ведь, в самом же деле, это экономит душевные силы, нужные для остальной жизни, избавляет от затронутости чужими делами или чужой виной, от необходимости о чем-то умалчивать, напрягаться, следить за собой, а тем более укорять себя. И так ей слишком многое приходилось скрывать: уязвимость, неблагополучие, боль в позвоночнике, неудачного сына. Скрывать значило держаться, это стало второй натурой. Ее осанка, которую не объяснишь ни просто генами (до меня вот не дошло), ни детским воспитанием и которую не отменили даже годы сидячей библиотечной работы, при первой встрече могла вызвать у человека осторожность, близкую к почтительности: Бог знает, в самом деле, откуда у нее право на такую прямую спину, на высокомерно поднятый подбородок. Но слишком скоро ее ничем не обеспеченная беззащитность становилась очевидной, ошибочная почтительность требовала компенсации в виде соседских придиорок и разнообразного хамства.

— Я ее видела раза два-три, не больше, — говорила мама, считая зачем-то нужным это объяснять — или объясняться? не передо мной — перед кем же? Дело было вряд ли в самом листке и тем более не в его карандашном содержимом, которым она не успеет и не подумает заинтересоваться, которого даже не отметит сознанием, как не отметит поначалу второго, чужеродного, точно раздавленный опасный паук, штемпеля, — даже не в книге, из которой листок был вырван (и которая скорей всего погибла вместе с другими книгами), а в чем-то неявном, едва различимом, что потянулось, как ниточка к неизвестным мне воспоминаниям, которых, может, лучше бы не вытаскивать на свет. Она, как и я, забыла, что это помнит, — но проступало само собой. Румянец на щеках пошел пятнами. — Меня привозили к ней девочкой... сколько мне тогда было? Я только запомнила, как неприятно пахло табаком от нее, от ее платья... табаком, но еще какой-то застиранной чистотой... и голос каркающий меня пугал. Может потому, что она время от времени хлопала меня по спине твердой ладонью, чтобы не горбилась. Больше ничего... почему именно это? — разводила она руками и вновь брала со стола листок — ошметок наследства, которое проще было считать не существующим, а значит, не имеющим к тебе отношения, так давно и так окончательно оно было утрачено, всматривалась в рисунок и буквы четкого, старинной краски, оттиска, потом останавливалась у пианино, механически поднимала крышку — я чувствовал вдоль собственных позвонков напряжение замершей в ожидании и надежде струны: неужели хотя бы нажмет клавишу?..

Нет, опускала опять. Пианино не играло на моей памяти ни разу — и сохранило ли оно еще эту способность? Прежняя наша квартира была коммунальной, там не разрешали играть соседи. Теперь, в другом городе, у нас было отдельное жилье на третьем этаже старого дома, но в том-то и дело, что по меньшей мере одна из соседок, которую я про себя называл Генеральшей, непо-

стижимым образом переместилась сюда вместе с нами. Конечно, я этого своего ощущения ни с кем не обсуждал: в лучшем случае мне бы напомнили о моей идиотской способности обозначаться. С памятью на лица у меня действительно было хуже всего. Я мог поздороваться с человеком у подъезда, а потом на лестнице увидеть, как он снова спускается мне навстречу — и терялся в смущении: здороваться ли еще раз? Умом я понимал, что это не мог быть опять он — но если между встречами проходили не минуты, а часы? А мог зато, наоборот, не узнать хорошо знакомого — опять же получался конфуз.

Дело тут, наверное, не только в памяти; с лицами ведь действительно трудно, они слишком подвижны и переменчивы, слишком зависят от времени дня, настроения, погоды, теней бессонницы, небритости, сияния глаз, от разговора или молчания, улыбки, прически, цветных бликов на щеках от листвы или одежды. Косметика не в счет, с ней как раз проще, она, как маска, схватывающая лицо (я по-настоящему пойму это в пору, когда мы будем жить без папы и я увижу, с каким усталым автоматизмом мама подкрашивает каждое утро перед выходом из дома губы: до меня впервые дойдет, что даже то, что кажется кокетством, связано у женщин не столько с желанием нравиться или производить впечатление, сколько все с той же потребностью держаться, то есть именно держать форму, чтобы противостоять времени и самой жизни)...

Может, то, что мы будто бы узнаем, и есть нечто вроде маски, сделанной иной раз даже не очень тщательно, само же лицо открывается нам не так часто, может, именно в те мгновения, когда мы, смущаясь, сомневаемся: оно ли?..

И все-таки, все-таки... ведь Генеральшу невозможно было ни с кем спутать, хотя бы потому, что на подбородке ее жила маленькая, телесного цвета актиния, похожая на бородавку с белыми волосками — только волоски эти были шевелящимися хищными щупальцами, дожидавшимися добычи, какого-нибудь мелкого насекомого: стоило ему сесть на этот соблазнительный, наверное, даже пахучий бугорок, как оно было бы тотчас захвачено, заглотано и переварено внутри тела. Я не раз мечтал уловить этот момент; но глазеть на Генеральшу долго было неприлично, тем более что она была выше меня, глаз поневоле упирался в халат — на прежней квартире он был, правда, темно-зеленого цвета, а здесь фиолетовый, но с теми же лилиями и так же засален на могучей груди, где в вырезе всегда виднелись кружева комбинации... да, наконец, голос, которым она в первый же день после нашего переезда напомнила маме насчет пианино...

Нет, дело было не в том, ошибался я или нет относительно Генеральши, и даже не в том, что играть в этом доме нельзя было уже по особой причине: здесь со всех потолков постоянно сыпалась штукатурка, с недавних пор запрещено было на всякий случай пользоваться стиральными машинами и другими вибрирующими или слишком громкими приборами; соседи вправе были опа-

саться добавочного дрожания струн. Даже печатая на своей машинке, я ловил на слух нечто вроде отдаленных осыпей — как ни умерял силу удара в предчувствии неизбежного разоблачения. Машинку мне посоветовал когда-то завести доктор Казин как полезное для моего ума и нервов механическое занятие; он поощрял меня запечатлевать на бумаге все, что придет в голову, но не умел прочесть, что я там корябаю своим куриным почерком. Теперь я был оформлен в папином учреждении (название которого за ненадобностью каждый раз забывал), на какую-то техническую должность, выполняя в действительности работу машинистки-надомницы. Для мужчины занятие, наверное, не очень принятое, даже в языке не было для него обозначения. Не машинист же. Работу для меня папа сам приносил домой, сам и уносил — очень удобно. И печатать я наловчился неплохо, слова и ряды цифр; грамотность у меня была автоматическая. А главное, был настоящий собственный заработок, впервые в жизни — очень не хотелось от этого отказываться...

Да... но опять же дело не в этом, а в том, что начать на новом месте с новой страницы родителям в этом смысле не удалось. Как им хотелось радоваться долгожданной удаче! Впервые за все годы у нас была отдельная квартира с удобствами, и мамина библиотека тут же, на первом этаже, так что на работу ей было не нужно ездить. Вообще попасть в этот закрытый город было привилегией, которую я не умел, наверное, оценить. Здесь среди прочих изделий необыкновенной секретной химии готовилось к производству нечто, называемое в обиходе «паста», загадочный, как бы неофициальный продукт, совмещавший свойства питательные и целебные, особенно, как мне дано было понять, для меня; то есть ради меня, главным образом, и был затеян весь переезд. В других местах об этом фантастическом продукте ходили только недостоверные слухи, но местные жители будто бы имели привилегию получать пробные порции по особым талонам. Наверное, потому город и назывался закрытым, то есть сюда пускали не всех, для этого требовалось особое разрешение и обязательство не разглашать секрет, иначе сюда устремилось бы, конечно, слишком много желающих, а пасты пока даже на всех местных, как я начинал догадываться, еще не хватало. Я чувствовал, что-то с ней вообще оказывалось не так просто. Единственный раз папе удалось через одну из наших соседок — глухонемую Дусю, работницу комбинатской столовой — раздобыть небольшую стеклянную баночку (с закатанной крышкой, но, конечно, без этикетки — этикетки еще не полагалось), и то, видно, ему (или, может, ей) подсунули не настоящий продукт. Хотелось думать, что не настоящий, потому что мой организм, увы, отказался принять эту буроватую массу, поднесенную мне на кончике чайной ложечки — меня стошнило от предварительного запаха.

(Я узнаю этот запах потом в макулатурном подвале, запах испорченной канализации и прелой бумаги, он, как догадка или воспоминание, свяжет для меня в причудливый сюжет производство пасты и заготовку бумажного отборного сырья в обмен на привилегию будущих талонов).

Мне, между прочим, потом подумалось, что родители не столько огорчились возможным обманом, — утверждать ничего было нельзя, сравнивать было не с чем, — сколько встревожились: а вдруг я могу не воспринять и настоящий продукт? Это было бы не просто обидно, этого не стоило бы выдавать тем же соседям, как очередной мой изъясн, даже с некоторым опасным оттенком неблагонадежности, точно мы, приезжие, ставили бы под сомнение здешние секретные ценности, которых на самом деле оказались по природе своей не достойны, так что еще вопрос, не напрасно ли допустили их сюда с таким, как я. Тем более не было речи о возможности пожаловаться или разоблачить подмену; мне лишь очередной раз напомнили о необходимости без надобности не болтать. Я чувствовал, соседи пока еще присматривались к нам, не имевшим даже, как другие, номеров законной очереди на тыльной стороне руки, им еще хотелось понять, по какому праву мы здесь оказались. Лишь слушая в тот вечер маму (папа задерживался дольше обычного на работе), ее полувоспоминания, полубъяснения, а может, и полуоправдания, непонятно чем вызванные и непонятно к кому обращенные, я подумал, что она ведь могла бы предъявить им право, которое у них самих не у всех было: право здешней уроженки. Переезд в этот город был для нее еще и возвращением в родные места. Казалось, она до сих пор сама по-настоящему этого не осознавала — и словно избегала осознавать. Ни встреч, ни узнаваний здесь нечего было ожидать (или опасаться). Почти ничего не осталось — даже названия — от полудачного зеленого места детских воспоминаний, где лес подходил вплотную к заборам и вдоль канав можно было собирать землянику. Начатые повсюду, но мало где завершенные новостройки уподобляли город телу, в котором старые члены вздумали чуть не сразу заменить более совершенными протезами, так что он частично казался неживым. Лишь вдалеке из окон нашего третьего этажа были видны за крышами розовеющие, как завершенные миражи, башни особого, недоступного квартала, называемого здесь Зоной; там возвышалась гигантская труба, от которой растекалась по небу, точно природная облачная пленка, постоянная белесь. Я мысленно размещал под ней производство пасты, насыщающей и целительной, способной разрешить проблемы будущего питания и успокаивающей волнение ума... но дело опять же не в заскоках моего воображения...

Я привык, что у меня нет никого, кроме папы и мамы, и не расспрашивал о других, живших раньше. Мне раз навсегда было объяснено, что все они умерли или погибли в войну бесследно; родители считали это для меня достаточным, я, наверное, тоже. В моей жизни эти другие не существовали, разве что в формальном звучании родительских отчеств, и мысль не задерживалась всерьез на тех, кого все равно ни видеть, ни почувствовать я не мог. Существовать начинает то, что возникло и зажило однажды внутри тебя. Не знаю, так, должно быть, вообще устроена жизнь: в ней каждый существует обособленно, и лишь немногих людей можно ощутить по-настоящему, непосредственно близко, чтоб уже через них как-то осознавать остальных, пусть даже и не живущих, даже ни-

когда не живших, а, скажем, возникших однажды из написанных букв. Но, если признаться совсем честно, я и свою связь с родителями не столько чувствовал, сколько принимал умственно — и не только потому, что слишком подолгу жил не с ними. Вот это меня томило одно время всерьез — но я решил, что так, наверное, опять же должно быть; ведь невозможно иначе как умственно осознать, скажем, свое рождение из тела матери, а тем более из вещества, впрыснутого в нее когда-то отцом; тот узелок кожи, что оставался на животе от бывшей пуповины, никак не мог хранить воспоминания ни о первоначальной связи с другим телом, ни о боли разрыва — но ведь никто никогда, кажется, не ощущал в этом потери или недостаточности. То есть, я не вправе был утверждать за всех, возможно, другие умели чувствовать и понимать это правильней и полней меня (хотя как? я не находил убедительных свидетельств, как будто для всех других подобные вещи подразумевались сами собой и обсуждения не требовали). Наверно, стыдно было в таких вещах признаваться даже себе самому, я осознавал как собственную вину и собственную ущербность это чувство — верней, бесчувственность — отделенности от родителей, расширявшейся чем дальше, тем больше... Вдруг мне подумалось, что, может, и маму в тот вечер защемило на миг что-то вроде такого же вот укола неясной вины, похожего на боль остаточной памяти...

Не знаю, не знаю... Может, и впрямь в нас хранится больше, чем мы сами, казалось бы, помним. Иначе с чего мне пришло вдруг на ум ляпнуть маме про эту старуху, которую я однажды увидел в библиотеке? Мой взгляд привлечен был длинным, до полу, складчатым одеянием, каких сейчас не носят, его хотелось называть не платьем, а может быть, салопом (хотя я точно не знал, что это такое). Она брала с полки книгу за книгой, открывала, всматривалась, придерживая одной рукой перед глазами за краешек старомодное пенсне, потом, качивая головой, возвращала обратно: не то. У меня и тогда почему-то возникло чувство, будто я видел ее раньше — хотя где? уверен, никогда прежде мама не показывала мне этой фотографии (да подозреваю, сама ее долгие годы не извлекала на свет). Но почему, когда я про это сказал, мама так вдруг разволновалась? — только ли потому, что она сама никакой старухи не заметила, хотя должна была видеть из-за своего стола всех посетителей? Она даже на миг побледнела — как будто тоже, подобно мне, лишь отчасти жила в мире, не только устойчивость, но самую достоверность которого надо было поддерживать, ежедневно что-то подштопывая, подкрашивая, чиня, а, главное, перестраивая что-то в собственном уме, чтобы создать для себя еще и другой мир или внутреннее укрытие — только так можно было держаться.

Как будто сдвиг ума тоже бывает заразным.

Не знаю, не знаю... Возможно, все это как-то связалось с мыслью о книгах. Их можно было считать не существующими и не имеющими к тебе отношения, пока они отсутствовали в сознательном чувстве. Все справки давно и не тобою

наведены, утрата стала привычной, как мысль о чужом умершем, ну, пусть даже и не совсем чужом, все равно теперь ничего не поделаешь, ничего не вернешь, и винить себя не в чем — ведь в самом деле, не в чем. Тем более еще вопрос, велика ли утрата, есть ли на самом деле о чем жалеть, если ничего достоверно о ней не знаешь. Она привыкла к их несуществованию. Дурацкая находка, пустая, в сущности, бумажка, подобранная в грязи, вдруг словно материализовала до сих пор бесплотное. Она могла означать, что по меньшей мере какая-то часть бабушкиных книг продолжала невыясненным образом существовать где-то здесь, в городе, может, прямо под нами же, в подвале, в макулатурной преисподней, которая не случайно притягивала глупое мое любопытство, и каждую минуту они могли погибнуть, а может, и гибли в эту вот самую минуту, одна за другой; за этим листком мерещился как бы чей-то голос, голос предсмертной жалобы и упрека. Не знаю... возможно, было задето еще и какое-то профессиональное чувство, что-то вроде библиотечной совести — много ли надо, чтоб заработало привычное воображение?

То есть я не мог знать, думала ли так она, не мог знать, какие мысли перебрали в ней за ночь; для начала я по обыкновению лишь переносил на нее собственные свои фантазии — слишком легковесные, как стало ясно уже вскоре; она ведь и сама еще себя не вполне понимала. Я даже не мог вспомнить потом, взяла ли она у меня этот листок себе сразу же вечером, или же это случилось на другой день, перед работой, — но когда, заглянув утром в библиотеку, я увидел его в маминых пальцах — вдруг словно что-то замкнулось.

5. Подвал

Это запечатлелось, как отчетливая картинка: она сидит за столом над длинной полоской ватмана, по которой начала выводить плакатным пером, красной и зеленой тушью: «Любите книгу — источник...» За спиной желтые каталожные ящики; перо отложено в сторону, в пальцах знакомый листок, лицо обращено к окну, за которым пожилой верзила-макулатурщик открывал замок на дверях своего подвала. Никаких слов произнесено не было, но что-то вдруг будто возникло само на пересечении наших взглядов или наших мыслей: мама вдруг порывисто поднялась, накинула пальто поверх рабочего синего халата и выбежала во двор. Очередь, дежурившая возле своих приношений, не сразу даже среагировала, когда она решительной, как бы вдохновенной походкой прошла мимо всех внутрь (втягивая за собой меня) с этим единственным листком в руке, точно пропуском, дававшим нам непонятное право.

Конечно, это был нелепый порыв. Даже я уразумел это прежде, чем мы смогли по-настоящему оглядеться. Понадобилось время, чтобы глаза после уличной яркости сравнялись с полумраком: макулатурщик закрыл за нами

обитую жестью дверь, отсекая начавшийся снаружи ропот. Он переводил озадаченный, даже встревоженный взгляд с маминого лица на мое, потом на листок со штемпелем несуществующей библиотеки. Необходимость смотреть на него снизу вверх делала мамину осанку особенно горделивой и строгой. Он вышался над ней, как кипа бумажного старья рядом с библиотечной книжкой: под телогрейкой тоже рабочий халат, только нечистый и посеревший, щеки в серой щетине, которая никак не становилась бородой. Чувствовалось, он еще не может взять в толк, о каких книгах говорит эта женщина, он явно пытался уловить за ее словами другой, более понятный нормальному разумению смысл. Возможно, он принял маму то ли за кого-то из жалобщиков, то ли — скорей — даже за официальное лицо, явившееся по поводу жалобы, иначе вряд ли бы она осмелилась — да просто не смогла бы — войти сюда запросто, помимо бдительной очереди, без законного номера на руке, и разговаривать с ним не так, как другие, пропущенные через этот подвал (а он, может, пропустил мимо себя и запомнил цепким опытным взглядом едва ли не всех здешних жителей, знавших, в отличие от нас, как положено держаться с таким человеком). На всякий случай стоило взять тон осторожный и предупредительный:

— Упаси Боже, мадам, если вы в смысле идеологии, так я стараюсь смотреть, как положено. Согласно инструкции. Чего нельзя, не беру. Не всякое сырье разрешено к допуску, я правила знаю. Кондиция должна соответствовать. Только за всем ведь не уследишь, сами понимаете, обложки-то они снимают, вот такие странички суют, тем более штемпель еще оборвут, а ведь каждую не пролистнешь, в каждую пачку не влезешь, мне план выполнять тоже надо, как вы считаете, это ведь тоже идеология, правильно я говорю?..

Пятна румянца на маминых щеках в этом освещении стали почти черными. Она слушала, как будто в свою очередь понимала, о чем он, а при слове «идеология» даже кивала, точно оно вызывало мышечный рефлекс. Изучающий, цепкий взгляд маленьких глаз существовал между тем как бы отдельно от льющихся слов. Тускло поблескивали во рту пеньки стальных зубов, сточенных почти до корней. Он, пожалуй, уже начал догадываться, что тревога ложная, хотя смысла нашего визита все еще не уяснил (если здесь можно было вообще говорить о смысле), и продолжал теперь скорей по инерции, уже наливая из термоса кофе в стаканчик пластмассовой крышечки, уже расслабляясь и отчасти забавляясь:

— Вы не представляете, что некоторые вытворяют! Чугунную решетку запихнут внутрь пачки, вот так вот, сюда, для веса, какую-нибудь железку потяжелей. Чуть не гирию пудовую. Я вам, если хотите, покажу, у меня целый музей составился. От могильных плит куски. Даже медали военные подсовывают. Народ! За ними глаз нужен да глаз. А то потом за них же доплачивай. Времена-то какие! У покойников зубы золотые выдергивают, читали в газетах? Иной раз даже чистую бумагу несут, представляете? Где достают? Небось на службе воруют. Откуда только не тащат! Если уж так говорить, на кой мне нужна эта их мелочевка? Я у них так беру, из человеческого отношения, раз уж столько стояли.

А то ведь уже грузовиками везут, девать некуда. Какую-то документацию старинную, какие-то архивы, говорят, упраздняют. Из соседних районов просят принять. Всем хочется, еще бы! Вы говорите библиотека! Столько всего написано! А ведь еще прибавляют, писатели разные пишут, не переводятся. Я понимаю, конечно, что со своей стороны должен смотреть. В смысле идеологии или допустим, вот, штемпелей. Но как уследить? Как уследить, вы можете мне сказать? Тем более, с транспортом каждый раз проблема, вон какие накопились завалы, неизвестно, с каких времен, а вы еще дальше посмотрите, что делается, там подвал не знаю даже куда идет, я туда за угол сам не заглядываю. Рухнет, не дай Бог, считай себя похороненным. Мне надо, может, за жизненный риск доплачивать. Не говорю уже про бардак с талонами... пардон за выражение. И на меня же потом жалуются. Как будто я обещал. Мое дело маленькое, принять, взвесить, обеспечить наглядную агитацию... вот, полюбуйтеесь...

Нам бы, избежав дальнейшего, тут же и ретироваться! — улучшить удобную паузу, найти слова, сводящие все к безобидному недоразумению, каким по сути был весь этот нелепый визит, нелепый же, в самом деле — глупей всего было бы сейчас его всерьез объяснять, признаваться, зачем мы сюда в действительности явились... сейчас, когда взгляд, понемногу осваиваясь, все еще не мог различить пределов теряющегося в полутьме хранилища — если здесь были пределы. Как будто мама еще не желала расставаться с надеждой... Или чем-то другим зачаровало ее это зрелище? Груды обесформленного бумажного вещества громоздились вокруг, опасно кренясь над узким проходом, оплывающие, выше головы, торосы уходили за углом в тускло освещенную глубину: многолетние слежавшиеся слои газет со шрифтами давно сопревших новостей, слои магазинных оберток, сплющенного картона, цветных журнальных картинок с лицами погасших звезд, слои школьных тетрадей с невыправленными ошибками, писем к умершим адресатам. Капли влаги отблескивали между черных кирпичей. Голос словоохотливого балагура доносился уже с глухого отдаления; я их обоих не видел, я в задумчивости отстал от экскурсии или ее обогнал. Что-то он продолжал рассказывать про здешние старинные подвалы, в глубину которых давно никто не наведывался, заблудишься, не дай Бог, не выйдешь; неизвестно, как далеко на самом деле они тянутся...

Не голос, а капает со сводов... кап... кап... отзывается размноженным шепотом...

Причудливое сцепление мыслей, бормотание саморазвивающегося сюжета, шелест отделившихся листочков на сквозняке, тянущем из отдаленных глубин, где дозревало до кондиции отборное сырье; производственный процесс начинался прямо там же, внизу, газ разложения или первичной переработки заполнял полости под городом, подъедал бетон фундаментов, вызывая трещины в кладке и штукатурные осыпи...

Вокруг ворочалось, вздыхало, постанывало. Известковый хруст под ногой, шепоты без голосов, легкие, как шум пламени. «Вы еще не поняли?» — «А разве это можно понять?». Навсегда заблудившиеся тени все пытались найти какое-то оправдание или смысл ушедшего среди разъятых, разлагавшихся, обреченных книг, документов, личных дел, анкет и характеристик, историй болезней и протоколов с доказательствами наследственной вины, среди слежавшегося, размягченного, как гибнущие мозги, вещества с чернильными, карандашными, печатными следами мыслей и слов, так ни до кого и не дошедших, не прозвучавших, не услышанных, не прочитанных и уже едва различимых — не пропавших, а изъятых, как изымают из жизни людей и даже свидетельства их существования... среди альбомов с фотографиями исчезнувших семейств: стоя и сидя, на коленях уменьшенные подобия, лица детские, лица женские и мужские, щека к щеке, руки скрещенные на груди, связанные веревкой, вздернутые над спиной (очертания древней арфы), босые ноги болтаются на уровне чьих-то улыбающихся губ, брови, бороды, усы и шиньоны, кипы волос, предназначенных для набивки матрацев, черепа отдельно, вырванные зубы отдельно, тела, утерявшие признаки пола, остатки из костей, кожи и внутренностей, свалены не в кучи, а в аккуратные штабеля, чтобы лучше горели, пепел тоже на что-нибудь пригодится, рано или поздно это все равно бы случилось, разница только в сроках, отчего бы не запустить отжившее вещество в кругооборот, подобный природному, для насущной пользы тех, кто пока останется жить, хватит и на детей, и на внуков — им вовсе не обязательно будет знать, как это связано с их собственным существованием, в самом деле незачем, это ведь не их жизнь, и ничья, этого больше нет...

Тошнотворный пузырь подступал уже к самому горлу... скорей назад...

Но еще я успел увидеть: из-под раскисших сырых слоев выпросталось вдруг плоское тельце с усиками, напоминающими знакомые буквы, быстро-быстро перебежало по стене, волоча, как кляксу, выдавленные внутренности, и скрылось вместе с выводком среди других страниц... опять слишком быстро, я не успел прочесть отчетливо, только подался вслед... От неосторожного движения что-то стронулось с нарастающим звуком...

(Не бумаги: ты сам задыхаешься под грудой навалившихся на тебя тел. Это называлось в детстве куча-мала: ты в самом низу, и невозможно пошевелиться, продохнуть, невозможно скинуть тяжесть — вот уже почти теряешь сознание, уже не надеешься на спасение, не впервые примеривая беспомощность как конец... так это, наверно, и бывает. Так просто... Лампа, не освещающая, а нагнетающая мрак, чернеет все ярче, как чернеет в глазах. Макулатурщик вырастает непонятно откуда. На длинной руке протянулась требовательная пятерня с грязным пластырем у основания большого пальца... но ты уже сумел преодолеть подкативший приступ и вернулся туда, где стоял, как возвращаются из обморока).

Глупей всего было то, что я потом так и не смог достоверно сказать, что, собственно, произошло. Со мной такое бывало сплошь и рядом: кажется, будто в задумчивости что-то сочиняешь, бормочешь про себя, шевелишь губами и даже уходишь куда-то, в оболочке собственного прилипшего времени, когда твое путешествие остается незаметным для прочих... На самом же деле ты и не удалялся почти, разве что заглянул за угол, может, нечаянно стронул там макулатурную кипу... Ничего на самом деле особенного, пустяк, право же; больше вообразилось. Ну, допустим, что-то еще пробормотал в оправдание или объяснение... что-то про штемпель с тремя буквами.... как всегда, невнятно, обрывисто, не очень осмысленно, я потом даже не мог припомнить отчетливых слов, я еще не совсем пришел в себя. Почему это произвело такое странное действие? — как будто произнесен был неприличный звук — если не хуже... похоже было, что хуже.

— Ну-ка покажь! Какой штемпель? — требовательная пятерня потянулась к листку в маминой руке. Грязный пластырь наполовину прикрывал буквы татуировки у основания большого пальца. Сфокусировались два желтых опасных огонька. Мама инстинктивно успела отдернуть руку за спину, другой сильно толкнула меня к выходу. Я удержался, но устоял.

— Не обращайтесь внимания, — забормотала она что-то извинительное и прощальное. Смысл нашего визита был в самом деле исчерпан, финал можно было считать достойным этого смысла.

Потом уже, задним числом, что-то стало соединяться в уме, по мере дальнейших событий обогащаясь догадками или вероятностями — как сюжет, разрастающийся сразу в обе стороны, в будущее и прошлое, но за достоверность этих догадок я все равно поручиться не мог. Можно было лишь предполагать, что за учреждение обозначалось буквами, которые я запомнил скорее все-таки неправильно, просто потому что они однажды вызвали у меня мысль о насекомом с черными усиками... но возможно, в моем бормотании, в самом звучании этих букв макулатурщику почудился какой-то намек или даже угроза, которых я просто не мог иметь в виду?... вроде того, что бумаг со штемпелем этого учреждения — вряд ли просто больничного — он, допустим, принимать не имел права?.. Нет, все это могло быть не более, чем моим сочинительством, попыткой объяснить что-то в произошедшем после, понять причины и связь — как будто во всем обязательно должны быть причины и связь. Сошлись недоразумения, не более. Мало того, что мы зачем-то сунулись в этот подвал, заставив макулатурщика гадать о нашей подлинной цели, так я еще добавил какой-то двусмысленности — знать бы, какой? Спросить об этом у мамы было никак невозможно; не уверен, что она и поняла больше меня. Может, дело было вовсе и не в словах, но именно в недоговоренности, оборванности, непроясненности. Может, воображение мое вообще добавляло больше, чем было в действительности? может, этот пустяковый конфуз не имел на самом деле отношения к дальнейшему? Куда важнее было другое, чего я выдумать не мог, потому что

это не могло быть моим, у меня этому неоткуда было взяться — как будто мне передалось смятение чьего-то чужого ума... Да ведь, может, его одного бывает достаточно, чтобы сдвинулась, заколебалась сама жизнь.

Но об этом я тем более не мог спросить маму.

На улице я даже не решился попросить у нее свой листок. Возможно, она вначале просто забыла его мне вернуть или захотела посмотреть еще раз, убедиться в чем-то. Но когда потом она скажет мне, что листок потерялся, я буду знать, что это не так, они с ним что-то сделали, не она, так папа — и опять же не смогу спросить, чего они испугались, в чем снова оказался я виноват: просто невозможно будет задать вопрос — как уличить в обмане... И хотелось оставить для себя подобие утешительной надежды: может, еще найдется.

6. Узнавание

Рай — это когда не обязательно знать.

Откуда эти слова?

Я замедляю шаг.

Знакомое чувство, будто на тебя кто-то оглядывается, провожает взглядом, словно узнал — или обозначился. Конечно, обозначился. Это могло быть только очередное недоразумение, но примешивалась еще и какая-то внутренняя готовность, какое-то заранее уже напрягшееся дурацкое ожидание, как будто здесь, в городе, где родилась мама, все могло иметь отношение ко мне — как фамилия на библиотечном штемпеле, как почерк на пропавшем листе.

Ощущаешь на себе взгляд, точно прикосновение бесплотной паутины, беспокоящее дуновение: угадываешь его кожей, волосками щеки, щекоткой на кончике уха — еще до того, как обернешься и увидишь...

Неподвижные, расширенные зрачки. На какой-то миг почудилось, что я ее тоже знаю, где-то видел эти глаза, не просто темные, а точно затененные усталостью или болью, лицо, тонкое, четкое, с тенью на щеках. Обычная история: еще немного, и потянешься здороваться, уже на ходу, по выражению чужою лица осознавая ошибку (чуть не постучался в чужую квартиру). Но тут смущаться следовало не мне. В таких случаях тянет отвести взгляд (так собаки при встрече отворачивают голову, удостоверяя доброжелательность намерений). Потом все-таки скосишь опять. Смотрит... Правильно было улыбнуться

этак понимающе, чтобы облегчить ее смущение (был бы хвост — помахал бы успокоительно), но в глаза все-таки не глядеть.

— Извините, — голос у нее получился хриплым. — Можно вас попросить?.. Снимите, пожалуйста, шапку...

Был ли кто на улице кроме нас? Растворились стены и окна, ушло из памяти состояние воздуха: только глаза с обводами усталости и скорби, побледневшее лицо (я ощущал вместе с ней эту слабость в ногах, лишившую на миг возможности идти после недоразумения дальше), только охрипший (не успела слотнуть) голос.

— Извините, — (покачиванием головы признавая: нет). — Извините, — сказала она еще раз. — Как будто привиделось. Трудно даже объяснить. Сама не могу понять. Была бы при себе фотография...

— Фотография ничего не докажет! — воскликнул я. Начальный шлюз преодолелся на удивление легко — словно чужое смущение освободило меня от собственной зажатости — и, как бывает в таких случаях, меня понесло. — Только собьет с толку. Даже зеркало способно смутить, с вами не бывало такого? Смотришь и не узнаешь. Или наоборот. — Я был восхищен обретенной легкостью разговора и собственным пониманием. — Обознаешься ведь тоже не всем случайно. Тут что-то бывает из глубины. А на поверхности так, ответ.

— Удивительно, — сказала она (и взгляда не отрывает). — Даже голос.

— Не только голос! — Я, наконец, надел шапку. — Даже бывает иногда почерк. Вот я недавно тут во дворе нашел листок — как будто мною написан... А кого, интересно, я вам напомнил?

Она все смотрит. Потом все-таки окончательно качнула головой: нет.

— Не знаю, как объяснить. Он умер здесь не так давно. То есть мне сообщили, что умер, меня в это время не было в городе... Нет, опять не так: не сообщили, именно что не сообщили, я узнала по сути случайно. Пока добывала сюда пропуск... уже опоздала. И теперь ничего не могу добиться. Никакого официального свидетельства, бумаги, диагноза, даже места захоронения. Что с ним на самом деле случилось? Как будто все еще не взаправду, не на самом деле... Простите, я, наверное, непонятно говорю.

Я мотнул головой, уверяя: понятно, понятно; голос опять застрял. Мне казалось, я действительно понимаю (такая молодая, немногим старше меня... впрочем, с женщинами не всегда разберешь, даже с ровесницами чувствуешь себя мальчишкой), понимаю, почему она вдруг стала все это рассказывать встречному посреди улицы, обознавшись и потом невольно расслабившись. Так внутри сна просыпаешься с чувством, что привидевшийся ужас отменяется — но потом приходится просыпаться опять, с тающей надеждой, что и это не окончательно, потому что невозможно почувствовать, не удостоверившись своими глазами...

— Дело в том, что официально я ему никто, — опередила она вопрос. — Мы не были расписаны, требовать справок формально я не могу. Тем более я не местная, приезжала сюда только на практику, медицинскую. А кроме меня, у

него никого не было. У него и жилья не было, мы снимали комнату. Я беспорядочно объясняю... и неизвестно, почему все это говорю вам... но не в том дело. Вдобавок случилось все не в обычной больнице, а в Зоне, там, вы знаете, все превращается в секрет. Сейчас, говорят, порядки начали смягчаться, мне вроде бы еще повезло. Во всяком случае я хоть попасть смогла — пусть не совсем туда внутрь, в какое-то преддверие. Но что толку? Прошла за одну стену, уперлась в другую. Говорят, больничные архивы переведены куда-то, но никто не знает, куда, и спросить некого. А если до кого доберешься, упираешься в таинственность, как здесь любят. Первым делом начнут выяснять, кто ты и по какому праву интересуешься, и застревает все на том же: что никаких прав у тебя нет. Да если бы и были. Смотрят на тебя снисходительно, как на временного чужака, не способного понять здешней особой логики. Такой и объяснять бесполезно, для жизни в других местах это не пригодится. Даже слов тратить незачем: пожимание плеч, или пальцем в бумажку ткнут. Манера глухонемых... жуткое чувство. Да что я вам рассказываю, вы, наверное, сами знаете...

А я опять кивал, как будто подтверждал понимание; мне действительно казалось, я понимаю: в городе считалось общеизвестным, что для работы в Зону специально набирали глухонемых (их называли здесь глухарями) — чтобы секретность сохранялась надежней; об этом говорили как о деле естественном. Наша глухонемая соседка Дуся поэтому тоже считалась связанной с Зоной. А может, она даже прикидывалась глухонемой ради выгоды, во всяком случае чтобы никому не объяснять, где и как достает пасту...

— Да, — вдруг осеклась она, — вы упомянули про какой-то...

Еще одному свойству памяти не перестаю удивляться: ее способности сглаживать, убирать неприятное, нелестное для тебя. Я, наверное, лепетал что-то идиотски невнятное и беспомощное, но точных слов не помню совершенно, потому что поверх слов уже шумела догадка о продолжающемся совпадении — не более невероятном, чем все до сих пор — вместе с постыдным сознанием, что подтвердить этого я уже не могу, нечем (так бывает не в книгах и даже не в жизни — разве что во сне). Наверное, что-то в ее реакции не дало мне остановиться, заставило забормотать, что я еще, может, попробую найти этот листок; наверное я даже предложил сделать это прямо сейчас, потому что потом мы оказались в моей комнате, родителей еще не было, я суетливо воспроизводил очередную раз пантомиму неискренних, безнадежных, как все в том же повторяющемся сне, поисков с отодвиганием книг и стульев: сменились декорации обстановки, но процесс перехода выпал из памяти — лишь ощущение шума, похожего на музыку... я обещал что-то еще вспомнить, то есть мне даже опять казалось, будто я помню, о чем там было, не хватало лишь точных, то есть единственных слов... (Голос с другого берега, послание напоследок, на единственном доступном листке, зернышки неразвернутой мысли — для расставания не осталось места и времени — невозможность ничего передать). Но почему она меня слушала? почему пошла со мной? почему сама вдруг стала

опять говорить? — точно не желая до конца расстаться с последней недостоверной надеждой.

Катится колечко по каменным плитам, в нервных четких губах уже сигарета, длинным указательным пальцем она состукивает пепел в блюдце (пришлось принести вместо пепельницы, у нас дома никто не курил). Тонкий вырез ноздрей. Ей почему-то шло имя Майя, я бы сам назвал ее так, и того, показавшегося ей похожим на меня, назвал бы тоже Феликс (как себя в роли собственного персонажа) — он проступал из ее порывистого рассказа, точно из отражения в черном оконном стекле: с таким же, как у меня, смешным, не поддающимся прическе хохолком на темени, только вот тут, как приставшее белое перышко, клочок до времени поседевших волос (а когда он стал отпускать бороду, щетина оказалась с рыжиной) — пациент в байковой больничной пижаме цвета плохих чернил, который однажды привел в замешательство молоденькую практикантку: «У вас детдомовские глаза». Почему он так сказал?.. Даже дым, который она выпускала из ноздрей, казался нервным, возбужденно подрагивающим. «Я сама никогда так не думала. Посмотрите... разве можно по моим глазам так сказать? Но ведь он угадал... и не только это. Может, потому, что сам был детдомовский».

Я слушал рассказ про двоих, которые нашли друг друга в этом городе, где с непривычки впору было и впрямь растеряться. У обоих никого больше здесь не было. Сняли комнату в старом деревянном домишке, чудом сохранившемся среди новостроек. Феликс до смешного боялся бетонных сооружений, это была одна из его странностей. На улице он как бы шутя оттаскивал Майю за рукав с тротуара на мостовую, подальше от стен, как будто на них каждый момент могло сверху что-то свалиться. Он сам обставлял это как шутку или игру, точно стеснялся признаваться в чем-то всерьез. Между тем среди его сюжетов (он все время что-нибудь сочинял, ну конечно же!) было нечто вроде фантазии о землетрясении на равнине. Она сама не читала, и не только потому, что почерк действительно был даже ей недоступен — это были по большей части именно замыслы, неразвернутые наброски, подробности должны были проявиться со временем, он сам их не всегда еще представлял, но кое-что пытался пересказать хотя бы в общих чертах. Речь там шла о сдвигах почвы и в то же время о сдвигах мысли, о пустотах подземных, но и о пустотах душевных, о неуследимых жизненных связях, о хаосе внешнем и внутреннем, о перемещениях слоев, газов и вод, о проваливающихся фундаментах и обреченных городах. Он ведь, к слову сказать, работал здесь в строительном управлении, что-то связанное с расчетом фундаментов, то есть это отчасти было и по его специальности; между тем к нему даже на улице пристало почему-то прозвище «Писатель», хотя никто не читал, что он пишет, и возможно уже не прочтет — все оказалось приобщено к истории болезни, неизвестно, сохранившейся ли...

— Там было про это! — сумел я наконец выговорить; раньше не удалось...

Она посмотрела на меня выжидательно.

— Про что?

Я замялся. Только что казалось, я знаю, я вспомнил, как это читал или даже будто слышал сам: шум нарастающей осыпи, отзвук пустоты под ногами, возглас предупреждения, любви или вины, голоса, как трепетные бессильные огоньки... будто даже вновь вижу четкие карандашные слова, написанные моим почерком... но тут же они исчезли, точно очертания ветвей после вспышки зарницы.

— Скажите., — между ее бровей напряглась складка, — а в этих записях на листке вам ничего не показалось... странным?

Я приоткрыл рот и пожал плечами; до меня только тут дошло, что она имеет в виду и о каком больничном отделении шла речь; но в следующий момент снова показалось, что я и это сам всегда знал... мне ли было не знать...

Она попробовала затянуться, но обнаружила, что сигарета потухла.

— А ведь знаете, — щелкнула зажигалкой, снова выпустила из ноздрей дым, — знаете, я на днях шла тут по улице, мимо места, где мы проходили когда-то и где он оттащил меня от стены. Смотрю, а там балкон обвалился. Еще обломки лежат, торчит арматура... Я тут мало с кем знакома и общения избегаю, но краем уха улавливаю иногда разговоры о какой-то афере с цементом, воровстве или подмене, о проектных ошибках. Здесь ведь все строительство приостановлено, вы, наверное, слышали. Может, он что-то в самом деле знал, о чем-то догадывался? О чем, может, ему знать не следовало? Написал что-то слишком неосмотрительно? Или кому-то сказал? И неверно был понят? Его сплошь и рядом не так понимали. Даже иногда я. Я, наверное, вообще не понимала, насколько у него все всерьез, при всей шутливости тона. Как будто он меня от чего-то оберегал. Его не просто было понять, мне до него надо было еще расти. И не только мне. При всей житейской беспомощности, такой на вид нелепый... Но разве обязательно понимать, когда любишь? Как я уговаривала его уехать! Я ведь здесь не могла остаться, это было невозможно по многим причинам. Почему он не захотел? Говорил, что должен остаться... как будто был здесь что-то кому-то должен. Я виновата. Думала: уеду, он рано или поздно опомнится. Что случилось? Или может быть: что с ним сделали? Я понимаю, это тоже род безумия: думать, будто еще что-то возможно. Словно бумажка — всего лишь бумажка — способна перевесить, подвести черту... можете ли вы это понять?

Я неуверенно кивнул. Наверно, тут еще стоило спросить ее про эти буквы штемпея... но в следующий миг, словно из другого измерения, в разговор вторгся из-за входной двери звук, напоминающий падение, и вслед за ним голоса, папин и Генеральши.

Слов я не разобрал, только сердитый тон соседки, она выговаривала папе за неурочное появление, как будто застигнуть ее у замочной скважины было столь же непристойно, как, войдя без стука, застать ее неодетой; папа оправдывался. Он вошел распаренный, вздернутый, кроликовая шапка в одной руке,

портфель в другой. Майя встала, без всякого смущения протянула для знакомства руку. Я впервые вобрал в сознание всю ее тонкую фигуру, свитер с высоким воротником, джинсовые брюки, заправленные в сапоги с каблучками высокими, острыми (меня всегда восхищала способность женщин ходить без усилия на таких каблуках — так, наверное, собаку восхищает способность людей свободно держаться на двух ногах) — и увидел себя рядом с ней, женщиной, мальчишку с хохолком на темени, с вечно приоткрытым ртом. И заговорила она теперь совсем по-другому, чем со мной.

— У вашего сына, случайно, не могло быть брата близнеца? Очень оказался похож на одного человека. Вы, кстати, какого года?.. — Вопрос был ко мне, но ответил папа. — Нет, он был на три года старше. Или бывают близнецы от разных матерей? А? Не было у вас в том году какого-нибудь приключения?

— В каком, вы говорите? — поддался он двусмысленности, которая, что ни говори, не может не льстить мужскому самолюбию. И как было не поддаться! (И как же она это умела! И куда мне было рядом с ней!) — О, в том году я был большой начальник, меня послали фининспектором на городской рынок... но это целая история... Один момент, сейчас я сниму пальто...

— Нет, мне уже пора. Мне далеко добираться, — она назвала улицу или район, я по обыкновению как-то не воспринял — стоя с открытым ртом, я вдруг осознал другое: что к автобусу ее провожать будет, конечно, папа, не я же, ему и пальто надевать было не надо. Я даже не попросил ее повторить адрес — не то чтобы не догадался, не успел сообразить от неожиданности: мне еще не пришло на ум, что папа не просто проводит ее, а уведет, позаботившись, чтоб больше я ее не увидел.

7. Музыка

Слабый, издали или ниоткуда, голос затихает, едва возникнув, но зацепившись за него, уже пробуждаются, разрастаются, ветвятся другие звуки, готовые сложиться в мелодию... биение струнных жилок, дрожь, ропот, приближающийся намек.

Я слушал музыку через допотопный громоздкий магнитофон, снабженный наушниками, чтобы не раздражать никого в доме наружным звуком. Громкость от этого не зависела, ее умел воссоздавать изнутри мой собственный слух, одновременно очищая плохонькие самодельные записи от посторонних шумов и тресков.

Шнур воткнут в розетку, стул в противоположном углу, накинув на плечи пиджак, все больше сливается со стеной, предметы теряют вес в сумеречном звучащем воздухе. Дуновение флейты или ветерка. Глубоко внизу играет от-

блесками, переливается дорожка лунной ртути, шевелится, бродит, трепещет еще не оформленная жизнь. Вздрагивает пульс, оживает дыхание, на туманном экране выявляются тени, линии, пятна, но прежде, чем удастся узнать черты, они расплываются, рассыпаются и не могут соединиться заново. «Замечательно, — говорит доктор Казин, отлепляя от моей стриженной головы чмокающие присоски. — Совсем другое дело. Помнишь, что у тебя тут возникало в прошлый раз? Геометрия, математические кривые, в этом роде, не так ли? Компьютерная музыка, я бы не отличил от настоящей».

Голый прекрасный череп облеплен присосками и проводами; матовая кожа, точеные черты, нежный мальчишеский альт... это не я...

«Нам всем дано больше, чем мы сами думаем, — с наслаждением продолжал философствовать мой доктор, умывая руки под теплой струей. — Но какие-то способности в нас давно атрофированы, особенно современной цивилизацией. И мы даже не осознаем в себе инвалидов. Я сам, если хочешь, один из таких. Приходится компенсировать разными способами. То, что ты видишь здесь — отчасти приборы исследования, отчасти попытка протеза, пусть пока что несовершенного. Как все искусственное. Само по себе искусство, может быть — своего рода протез. Но вдобавок у меня есть ты. И не только ты. В человеке можно, если угодно, видеть своего рода генератор и преобразователь смыслов — в том числе и таких, которые не всегда удастся перевести на общепонятный расчлененный язык. Слова всегда компромисс — или даже ложь, как выразился поэт. В том числе и те, что я сейчас сам говорю? Ха-ха... То-то и оно. На некоторые слова я, глядишь, даже не решусь. Хотя и одной решимости мало. Потому что слова — это еще и цензура, слова — ответственность, о которой мне без конца твердят разные чистоплюи. Но разве не важнее всего истина? Если б мне только не связывали руки! Если б ты мог остаться со мной один на один! А? Чтобы не надо было отчитываться хотя бы перед твоими родителями. О, куда б мы могли зайти, соединив способности... С тобой хорошо иметь дело, потому что ты не носишься со своей значительностью. Ведь не ради же одного удовлетворения научного любопытства я стараюсь. Тут речь о том, о чем говорили — каждая на своем языке — все мировые религии. Может, ничего важнее на свете нет. Может, это способно подвести нас к самым главным, последним загадкам. Мы к ним даже не подступаемся, потому что заранее боимся чего-то худшего, чем поражение, мы делаем вид, что их нет — так спокойнее. Мы боимся, мы не способны проникнуть в себя самих, другой человек — для нас вовсе недоступный мир. И главного в этой жизни, может, вообще нельзя постигнуть, если не выйти за ее пределы, не взглянуть на нее из какого-то другого измерения. Не теряя при этом с ней связи, вот в чем проблема. Я пробую нащупать путь как будто парадоксальный; на первый взгляд кажется, будто он лишь уводит от реальности или создает какую-то другую. При всех потугах подтвердить что-то свидетельством достоверным, вот как на этом экране... Но это лишь на первый взгляд... в том-то и парадокс...» — Он подмигивал, заранее

предлагая не принимать его болтовню слишком всерьез; в конце концов, я ведь сам сочинял ему все новые речи, чтобы не так бояться чего-то, что лезло без спроса в уши и мозг. Проще было с этим справиться, переводя все в чужие слова, отделив от себя человека, пытавшегося выведать, может быть, что-то запретное, что болезненно томило меня самого...

Тихое погружение, из середины лба выплывает длинная узкая рыба, чешуя отблескивает тускло, как поверхность немых вод. На непросохшем листе, как на простыне с больничным клеймом, проявляются слабые карандашные знаки, все отчетливей, их можно снова узнать и понять, как узнают и понимают мелодию, помимо слов; достаточно ощутить внутри дрожь своей связи с кем-то, тебя не знавшим. Голос с другого берега, невидимого в темноте. Еще немного, и возникнут слова, пусть не те, что ты силишься вспомнить, но о том же. Любые слова условны, даже если они записаны в священных книгах, потому они и не совпадают в разных языках, но общий свет льется сквозь мутное окно, сквозь расцвеченные витражи и сквозь дыру в куполе, и усилие воспоминания равноценно рождению смысла внутри новой жизни... Звук стеклянного крошева, фортепьянная россыпь, ледяной перезвон, эхо пустоты под ногами, остановка сердца и времени, бесконечные переходы внутри сплошного необозримого здания, без окон и неба над головой. Запах дезинфекции, лекарств и мочи. Дивный голос слышится из-за двери особого бокса. Там лежал в многодневном забытии мальчик, вызывавший наше напряженное любопытство. Не приходя в себя, он время от времени начинал что-то петь на языке, которого никто не знал. Мы подходили послушать. Наверное, такой голос называют ангельским. Матово-смуглая кожа, точеные черты напоминали кого-то со старой книжной картинки. Он казался мне удивительно красивым, бритый наголо череп делал эту красоту болезненно беззащитной и потому совершенной; что-то в ней было нездешнее. Его перевели к нам из другой больницы — какой-то загадочный случай; кажется, даже врачи и сестры ничего о нем достоверно не знали. Кто он был? Что с ним случилось? О чем была его непонятная песня? С уверенностью очевидца я сочинял для соседей по палате историю про инопланетное похищение — просто потому, что чего-то подобного от меня ждали, как бы даже требовали, я это чувствовал; она составлялась сама собой, как ближе всего доступная пониманию, и расцвечивалась сама по себе подробностями. Я был недобросовестным рассказчиком, которому успех нужен больше истины, тем более, что какое-то другое знание не поддавалось словам, только заикание мое разрасталось, превращаясь в немоту. Достоверным для моего чувства было единственное: беспомыслие и возвращение неизвестно откуда, и невозможность рассказать об этом на здешнем языке...

О чем? не о том ли, куда уходит, куда стремится течение музыки? — немолимо и безвозвратно, с каждым новым звуком, новым мгновением, вот этим, и вот этим, и со всеми ожидающими своей очереди, переливается, как напев скрипки, из предчувствия в воспоминание, не задерживаясь даже на малую

долю мгновения: остановить значит прекратить, умертвить ее. Остановленного просто не существует, и даже повторить ничего нельзя, всякое повторение есть лишь новая порция взятой из будущего и заранее обреченной мелодии, ведь мелодия тоже должна умереть, она не может не закончиться, как не может не закончиться все в нашей жизни, вот этого все-таки никак не понять. Только пытаешься охватить последующим умом все вместе — когда оно становится воспоминанием, влившись в прошлое, слившись со всем, что утекло туда прежде, еще до того, как мгновенной нотой возник ты сам, между прошедшими неведомо для тебя и теми, кого ты не будешь знать... только мучаешься невозможностью по-настоящему ощутить и понять связь с теми, кого ты видел и кого видеть не мог, о ком, быть может, читал или просто подумал, кого однажды сам создал для существования в том мире или измерении, где не различишь живших вне твоего ума и внутри него.

Бритоголовый мальчик знал что-то, не доступное мне и всем остальным — мысль об этом вызывала мучительное, болезненное беспокойство; я придумывал способ это выведать. Я видел, я представлял, как это делается. Надо было только дождаться глубокой ночи, когда все в больничном отделении засыпало. Дежурная сестра, как всегда, покинула свой пост в коридоре, оставив гореть слабую лампу под зеленым колпаком. Мальчик лежит на приподнятой — выше обычной — кровати лицом вверх, на черепе знакомый парик из проводов и присосок, дыхание едва слышно. Прибор стоит на отдельном столике; он никогда не выключался, второй пучок проводов и присосок шел из его белого твердого туловища к другому такому же парику. Достаточно надеть его на собственный череп и повернуть черную ручку, сперва на одно слабое деление, потом еще на одно...

Трепет готовности, близость понимания. Натягивается струна, тянет жилы, тянет нервы, тянет жизнь из тела. Напрягается звук, разрастается душа или мир вокруг. Стены и потолок прорастают колючими раскидистыми ветвями, тени большеголовых существ замерли, внимательно смотрят отовсюду слабо фосфоресцирующие глаза. Дежурная лампочка над дверью палаты не горит, но воздух сам по себе светится, пронизанный электричеством. Оно меняет и облагораживает больничный запах, настоенный на дезинфекции и моче, напоминает мышцам об утраченной силе. Птица с голой шеей грифа и длинным хвостом цвета черной радуги пристроилась под потолком в углу. Мясистая плоть растения выпускает из себя цветы; нежные розовые бутоны, набухнув, расправляются медленно, на глазах и, чуть помедлив, так же на глазах начинают опадать лепестки, зависают в воздухе — потому что все вокруг оказывается лишено веса и плотности, а в голове разверзается, расширяется пустота, заполняемая звучащей болью, и в эту пустоту вместе с мыслями начинают втягиваться лепестки, и воздух изогнувшегося пространства, и мальчик с матовым лицом, и все, кого ты не сможешь больше увидеть, сохранить вместе с собой, потому

что через несколько мгновений должен будешь исчезнуть сам вместе с миром, существование которого непостижимым образом зависело от твоего...

«Ну-ну, ты чего раскричался? Нельзя же так, — успокаивающе журчал доктор Казин, держа мою голову, как мяч, в кончиках легких пальцев — по пять пальцев вокруг каждого виска. — Что тебе такое привиделось?»

Я лежу на своей кровати. У мясистого, безымянного для меня цветка на подоконнике опали и пожухли только что раскрывшиеся розовые лепестки. (Жизнь совершилась ускоренно — мгновенно).

В детстве это не осознается как страх смерти. Я не думал, что этого боюсь. Умирали вокруг то и дело, кого-то увозили по коридору на скрипучей каталке, закрыв с головой простынею, это вызывало больше умственное любопытство, чем страх. (Разве что боязнь опять огорчить родителей). В этом смысле я тоже долго не мог повзрослеть. Боялся я чего-то другого — как темноты в пустой комнате или даже того, что происходило во мне, когда я закрывал глаза: вдруг сейчас все на самом деле исчезнет и уже не возникнет снова, в том числе я сам?.. Надо было скорее открыть глаза, чтобы успокоить забившееся сердце. Но увидев в то утро опустевшую койку в одиночном боксе, я впервые не мог вместить в себя полноты и окончательности этого исчезновения. Как будто вместе с этим нездешним мальчиком невозвратно исчезло что-то мое — я не просто внутри себя ощутил исчезновение целого мира, я был к этому исчезновению причастен, а может быть, в нем повинен, как будто действительно перелил в себя частицу чужого сознания или чужой жизни, и уже не мог ничего с этим поделать, не мог ничего спасти. Как будто речь шла в самом деле именно о спасении мира, не более и не менее — но ради чего еще, если вникнуть, придумывались потом все эти самодельные дурацкие сюжеты, где окончательное исчезновение заменялось чем-то другим, более щадящим? Иначе просто не удавалось справиться с тоской и волнением. Но тогда я этого еще не умел. Мозг расплывался, слова рассыпались. Тот приступ был самым невыносимым, вид доктора с черной ассирийской бородкой связывался теперь с этим страхом.

Удалось ли нам от него здесь укрыться?

Перемещение в иное пространство, переход в другую тональность: о том же, но не так. Взвизг хамской синкопы. Гротескное скерцо, часть вторая. Ритмичная, однообразная попытка пробиться к наслаждению или к облегчению, но ведь бывает сладко облегчение нужды. Радость насилия. Лица опалены, оплавлены, искривленные провалы вместо ртов. «Есть средства», — говорит знакомый, но неузнаваемый голос. Я снова задыхаюсь на дне «кучи-малы», но в самый последний момент, когда выдержать кажется уже невозможно, меня нащупывает рука, пахнущая полумойным ведром и тряпкой. Я брал из этой руки с грязными ногтями утешительный леденец. Вот кто был мне тогда близким че-

ловеком — моя спасительница тетя Феня, толстая гнилозубая уборщица, отделявшая от наших порций масло, чтобы унести домой, двум внукам. Она ругалась на нас матом и замахивалась шваброй, но меня никогда не била...

Попытка быть своим. Боль наколотой точки у основания большого пальца. Можно корчиться от стыда, переживая его каждый раз заново, но память о боли может быть только умственной, и это правильно, иначе бы не вынести. Помнишь только свое знание о ней. Точка оказывается событием, она способна разрастаться, в нее можно погрузиться, как в провал, и вновь увидеть лица, стены чулана, где пахнет дезинфекцией и стоят ведра с надписями: для пищи, для отходов, для рвотных масс. Меня уговорили сделать наколку, обозначить имя. Очередное коллективное увлечение в детской больнице... мне так хотелось сравняться с другими. Не получилось опять. Чего я так испугался в последний момент? Не боли — давно весь исколотый. Тогда я не мог этого выразить, но точку умудрился потом срезать бритвой. До сих пор татуировка вызывает у меня мысль о чем-то непоправимом, как увечье. Остался крохотный рубец — тоже память или мета, но все же другая...

Звучанье трубы среди леса. Какое облегчение! Часть третья. Ноты поставлены на сучок. Голый призрачный березняк, вершины покачиваются, сходясь над головой. Мелодия скрипки и мелодия смычка. Крылья бабочки распластаны по коре, можно вглядываться в узор, как в прекрасную местность, и войти сквозь переливчатый глазок в белую березовую рощу. Звук пробуждается заново, будто вспоминая себя. Два встречных шума, две встречных толпы проходят одна сквозь другую, не соприкасаясь. Бесцветное недопроявленное лицо смотрит из черного оконного стекла. На скулах тень, как борода, электрический блик на коже. Лоб прочерчен законной призрачной веткой, огонек смотрит из-под надбровий. Ничто не исчезает насовсем, есть всего лишь перемена памяти; но можно снова бродить среди уплывших в прошлое звуков, вслушиваться в переливы повторяющейся темы, узнавать и не узнавать. Переплетение тонких травинок, россыпь хвойных игл, зеленых и уже ржавых; тельце насекомого раздавлено неосторожной подошвой — и словно улавливая неслышимый сигнал, другие сворачивают с тропы к черной мятой крупинке, трогают, будто пробуют, шевелят усиками, подталкивают... вот тельце дрогнуло, стало расправляться изнутри, набухать, обретая прежние очертания, шевельнулось, двинулось. Доктор знает, что говорит, мы все могли бы вспомнить, может, что-то самое важное — если б было время сосредоточиться, если б не надо было спешить в магазин, на службу, ждать телефонного звонка. А главное — если б мы не боялись пожертвовать чем-то, чем слишком в себе дорожим — но чем?.. тоже еще надо понять. Нет, может быть, счастье, что всего вспомнить нельзя, нельзя исчерпать закрома, не оставив тайны и недосказанности — это было бы как хирургическое выскабливание, как оскопление, после которого душа уже не способна зачать...

Гигантская ступня вдруг снова смахивает тебя, муравья, с травинки, потрясение вспыхивает вместе с ударом литавр...

Одинокий голос, весть ниоткуда... возвращается, рассыпается, пробует снова. Пространство без цвета, шепоты без голосов, невнятные тени среди слезавшихся бумажных груд. Хруст стеклянного крошева, отзвук пустоты под ногами. Невозможность помнить оба состояния одновременно — только плыть и лететь на кончике смычка, внутри неумолимо уходящей мелодии, следуя и подчиняясь каждому ее изгибу, но не охватывая музыки в целом, пока она не кончится, как не охватываешь жизни, пока все происходит впервые. Ни одна мысль и ни одна вина не изжита окончательно, все продолжает совершаться, прошлое, настоящее и будущее не разделены, как не разделено живое и мертвое: слова, вычитанные в книге или на бумажном обрывке, роспись собора, хлебная крошка на скатерти, запах хлорки в грязном сортире, ритуалы и песнопения, и события давних времен — все лишь внешнее вещество, которое может войти в состав твоей жизни, а может и не войти — все лишь камешки, от которых может возникнуть живая искра, а может и не возникнуть, лишь подпорки для восхождения, раз нам не дано воспарить. Ступня соскальзывает в ту же заледенелую выемку, соскальзывает мелодия в ту же тему. Это окружает нас каждый миг, и ни на миг нельзя расслабиться, гарантий нет, вход может раскрыться где угодно. Все стало ясно, и некому сказать. Пустота, одиночество, прозрачный туман, отзвук колокола вдали, гулкое эхо — не докричатся...

— Что ты сидишь в наушниках? — говорит папа, глядя на меня из дверей. Рука прикрывает от воздуха огонек свечи, розовеет на просвет кожица между пальцами. В комнате, оказывается, почти совсем темно, бобины магнитофона не крутятся. — Как маленький, честное слово! — Он покачивает головой, в голосе его неуверенность, он не знает, как оценить это мое сидение в темноте, перед неработающим прибором. — Свет опять отключили. Черт знает что!

8. Уроки жизни

Смотришь, не узнавая, не понимая, как бывает во сне или в миг внезапного пробуждения. Одуванчиковый шар света вокруг фитиля. Выхваченный из поземки, среди темной улицы стоит стол, покрытый розовой, в белых цветах, скатертью. Папа сидит за столом, привычно пошатывает пальцем нижний зуб во рту. Уже в своей любимой пижаме цвета домашнего уюта, полоска желто-коричневая. Он старался переодеться в нее сразу, едва приходил с работы, словно спешил вместе с костюмом сменить состояние, избавиться не просто от галстука, пиджака и рубашки, но от забот, давивших на кадык, портивших вкус пищи, от пота, остывшего, впитанного одеждой вместе с суетой и напряжением рабо-

чего дня. Разрастающийся свет все явственней обозначает как бы еще не полностью геометрическое, тающее к углам пространство жилья, старомодный буфет у одной стены, рыжее пианино у другой (на крышке длинная льняная салфетка с вышивкой гладью, наверху громоздкое изделие из коричневого фаянса, изображающее как бы гору с тремя выросшими из нее фигурами, которые в разные годы моего детства по-разному мной толковались). Кремовые, с мелким узором, обои на стенах ограждают сейчас нас обоих от непогоды, от темного ветренного пространства — такие непрочные, такие, в сущности, условные, что даже огонек на фитиле колеблется, словно от внешнего дуновения.

Нет, уже без огонька, он не то чтобы погас, а, забытый, растворился сам собой в возобновившемся электрическом свете. Мы с папой сидим за столом. В комнате еще следы беспорядка: кто-то в наше отсутствие проник в квартиру, вскрыв непрочную дверь, даже без взлома замка, но ничего не украл (да что у нас было украсть? неподъемный магнитофон? старую пишущую машинку? баночку поддельной пасты из холодильника?), только оставил разбросанными бумаги, исписанные моим неудобочитаемым почерком, как будто именно ими интересовался, и эта бескорыстность хулиганства встревожила родителей больше возможного воровства, как все непонятное — вроде письма, оказавшегося в нашем ящике за день до того: «В ответ на вашу жалобу сообщаем, что пункт приема макулатуры № 1 закрыт по санитарным соображениям». Какую жалобу? кто ее писал? Можно было мне поверить, что не я, не стоило на меня смотреть так долго, чтобы в этом убедиться. Подобрать зачем-то испачканную бумажку, брякнуть что-нибудь невпопад — этого от меня еще можно было ждать, но не таких умышленных действий. Тем более, что наша фамилия на конверте была вписана от руки поверх какого-то первоначального Брейгеля. Может, имелся в виду прежний здешний жилец? Но у него была, кажется, другая фамилия. Или был перепутан адрес? а может, письмо было подброшено с каким-то намеком?..

В городе вообще-то не принято было носить почту на дом. Все добровольно ходили за газетами и за письмами в районную контору, где помещалось заодно и управление домами, и другие местные службы — очень удобно, экономно и время на попутные дела, и труд почтальонов, и почта сохранялась надежней, чем в ящиках, куда могли подбросить, глядишь, зажженную спичку, из простого ли озорства или, может, чтоб дать намек упорствующим любителям обособленных ячеек. Мы до сих пор вообще не получали здесь никакой почты, и родители, кажется, уже почувствовали, что поступили ошибочно, не подписавшись, как положено, хотя бы на одну местную и одну центральную газету. Теперь надо было ждать следующего подписного срока, чтобы исправить ошибку... Но в чем тут был намек? и кто это мог постараться?.. Как бы там ни было, с дверей макулатурного подвала действительно уже не снимался замок, и не к кому даже было пойти объясниться, заверить, что ты тут ни при чем, а на мальчика, право же, не стоит обращать внимания...

Смотрит на меня через стол, на скатерти зеленоватый графинчик с обрезками лимонной корки на дне; папа уже выпил стопку, точно для этого разговора ему надо было набраться духу.

— Пора поговорить с тобой всерьез. Давно пора. Все как-то не хватает времени. Я не заметил, как ты стал совсем взрослым. Уже бреешься. А жизни совершенно не знаешь. Это опасно. Это может быть опасно. Одних книг мало, я уже и маме говорил. Ты ведь даже телевизора не смотришь. То есть я не к тому... ты не подумай. Это наша вина, если мы вовремя не объяснили. Тебе и в кино было нельзя. Врачи не советовали. Ты ни в чем не можешь быть виноват и ни за что не отвечаешь. Тебя всегда надо было беречь. Ты родился таким слабым... просвечивал, как яичко. Мы уж и не надеялись. Да еще в такое трудное время, такое опасное время, когда не знаешь, откуда чего ждать. И вот ты, оказывается, совсем большой, я не заметил. Давно ли я нес тебя на руках из роддома, ты дышал мне в рот сладким молочком. Подумать только...

Подливает из графинчика в зеленоватую стопку. Стекло запотело, испарина удовлетворения проступила на лысине, лицо умиленно размякло. Ты смотришь на человека, бывшего когда-то великаном твоего детства, вызывавшим восхищение, любовь и сладкий ужас. Ему ничего не стоило поднять твое тело высоко над землей, двумя руками и даже одной, уперев громадную великанскую ладонь тебе в живот, так что надо было судорожно напрячься, чтобы не упасть с головокружительной высоты — сердце замирало над провалом, готовое оборваться. Другие взрослые не были такими гигантами и не обладали такой силой, хотя при этом своего папу ты мог побороть, мог положить на лопатки, веря, что он не поддается — в те редкие, сладостные часы близости, когда он бывал дома и у него находилось на тебя время. Умом ты знаешь, что это были вы. Он тоже смотрит на тебя, на взрослого, уже бреющегося мужчину, пытаюсь совместить его с младенцем, которого можно было держать на руках... нет, еще непостижимей — с веществом, ждавшим когда-то в твоем теле пробуждения или осуществления. Отдельный, отделившийся, будто даже незнакомый человек — как бы ему объяснить для безопасности будущего что-то, что самому кажется понятным лишь до поры, пока не начинаешь подыскивать для этого хотя бы начальные слова?

— Не знаю, нужно ли тебе все знать. С одной стороны, родители должны передавать детям, это закон природы. Мы не вечны, когда-то тебе придется без нас... ты пойми меня правильно. Рано или поздно все должно будет достаться тебе. Квартира, вещи. Страна. Все, что видишь и чего не видишь тоже. В том-то и дело. Не все о своей жизни мы знаем, не все можем понять на своем только опыте. Тем более, есть такое, куда лучше и не заглядывать. Не обязательно, понимаешь мою мысль? Вот, не знаем же мы с тобой, как устроен этот магнитофон, какие в нем крутятся штучки и откуда берется музыка. То есть, может, кто-то и знает, но тоже вряд ли до конца, до движения электронов или как они там

называются. То же и с жизнью. Мы видим только, что крутится перед нашим взглядом, слышим, какая в результате музыка, и нам достаточно. Так ведь? Наше дело выучить правила, где что нажимать, а что делать запрещено. Лишь бы играло. А какие силы распоряжаются там, — (палец показывает в потолок) — или, если хочешь знать, там? — (палец в пол). — И как они, может, сталкиваются? Не наше дело. Понимаешь мою мысль? Ты смотришь: кладовщик в телогреечке. Но, может, это он для тебя в телогреечке, а кто он на самом деле, какими ворочает деньгами или, скажем, силами? Или даже не он лично, а кто-то за ним, кого мы, может, не видим. Тем более. Тебе ведь даже не вообразить, что можно сделать из старой бумаги и талонов. Больше, чем просто деньги. Тем более мы здесь люди новые, чего-то не знаем, не понимаем. И нас тоже не знают. Неизвестно, за кого он вас с мамой принял. А теперь еще это письмо... Ты действительно никуда не писал? Ну, я уже спрашивал. Хорошо, если соседи про него не знают ...

Голос понижается почти до шепота, он снова оглядывается на дверь, словно пытается угадать, нет ли за ней подслушивающего уха. Не дай Бог, заподозрят, что это в самом деле мы лишили смысла их бдения в очереди, оставили их не просто без талонов — без чего-то более важного. Но что дверь, когда сами стены так ненадежны, едва ли не прозрачны, свистит ветер, поземка завивается чуть не у ножек стула, соседи замерли, прислушиваясь, в своих ячейках над нами, под нами, вокруг, и невозможно подобрать слова одновременно нужные и безопасные — надо еще глотнуть.

— Ну, вот я тебе объясню на примере. В одном журнале напечатали: есть такая лягушка, она ловит мошек, только когда они движутся. Пока они сидят тихо, она их просто не видит, у нее так устроено зрение. А чуть шевельнутся, у нее сразу — хоп! — стреляет язычок, длинный такой, с липучкой. Мудрость природы. Двинешься невпопад, могут не так понять. Улавливаешь мою мысль? Или еще лучше на своем примере. Я тебе никогда не рассказывал, как меня направили фининспектором на рынок? Я тогда был молодой, правда, не активист, но все знали, что я очень честный. Честность, ведь это такая вещь... она в крови. Не могу, и все. Не могу. И сейчас так говорю, и тогда не мог... А что был тогда за рынок, надо рассказывать особо. Теперь таких нет. В первый же день возвращаюсь домой, смотрю, а у меня в пиджаке, в кармане, деньги. Десятки, тридцатки — тогда были такие купюры, красненькие. Кто сунул, когда? Неизвестно. Я не заметил. Только сразу понял: мне здесь не место. Лучше поскорей удирайте. Но куда, вот вопрос. Везде то же самое... Как тебе объяснить? Ты даже газет не читаешь, у тебя не та настройка ума. А может, и сам организм другой? — Остановился на миг, обдумывая нечаянное подозрение. — Хотя, в смысле запаха, говорят, там теперь сами признали недоработку. Не вслух, естественно, но вроде обещают улучшить. И цвет тоже. У нас ведь внешний вид никогда не умели подать. Упаковку, расфасовку. Сделать, скажем, в виде конфет. Или таблеток в оболочке. Чтоб проглотить без проблем, а там уже рассосется. Там уже хорошо. Хотя с другой стороны, говорят, те, которые в Зоне работают,

получают это самое вместо продуктов в натуральном виде и жрут прямо так, ложками. И сыты-довольны, и ничего им больше не нужно. И никакого такого запаха не чувствуют. Потому что они внутри него выросли. Понимаешь? Вот так же и мы. Мы, можно сказать, выросли и настроились внутри этой жизни. Мы никакой другой не знаем. А она была — попробуй все-таки меня понять — именно такая, что никогда заранее не угадаешь, откуда опасность. Стоишь, бывало, так просто на улице, зазевался, оглядываешься вокруг... ну, первый раз в большом городе, красивая улица, высокие дома... Вдруг подходят в штатском, требуют предъявить документы. Почему здесь стоите, чего смотрите? Скажи спасибо, что в тот раз отпустили. Могли бы не отпустить. И вся жизнь под откос, и даже причины не угадаешь. Попробуй тут угадать. И сколько раз клацало совсем рядом. Мне, можно сказать, везло. А все равно не поймешь. Вроде бы даже времена изменились — все равно. Устройство жизни понять трудней, чем на первый взгляд кажется. Нам мало что открыто. Как бы тебе объяснить. Понимаешь, кроме правил объявленных существует такое, что подразумевается, но о чем вроде бы не принято говорить. С другой стороны, если ты даже чего-то не понимаешь, в чем-то сомневаешься, тоже не надо проявлять этого перед другими. Хотя еще вопрос, что знают другие. Может, вовсе даже не больше тебя. Может, и они только делают вид, будто допущены до другого знания. Нет, я не говорю, что сомневаюсь. Я только прошу: покажите мне прежние накладные, мне же надо видеть, что я подписываю. Я человек здесь новый, я этих бумаг не смотрел, я не знаю, что там на самом деле. То есть я не сомневаюсь, что все правильно, все соответствует и имеется в наличии, я доверяю, но мне все-таки нести ответственность, раз вы меня взяли на эту должность. Поймите меня правильно. А они говорят: план по макулатуре надо было выполнять или не надо? Нет тех бумаг. И не строй из себя... ладно, тебе не надо знать этих слов. Подотришь, говорят, своей честностью. При чем тут она? Как будто вчера родился. Всегда так делали, делают и будут делать. На этом система работает. И ведь действительно работает. Я все это сам знаю. Колесики крутятся. Даже удивительно. Не только здесь, везде. Куда, спрашивается, бежать дальше?..

Снова пьет из зеленой стопки. Бурая корка, полопавшаяся, точно после извержения вулкана, затвердела над пористой хлебной мякотью. Часы остановились, мамы все нет дома, и мы еще не поняли, где она так долго задерживается, еще не спохватились ее искать, еще не выговорили вслух и эту тревогу. Пошатывает пальцем зуб. На ниточке. Все на последней ниточке, и неизвестно, сколько еще осталось, а захмелевшая мысль все кружится у какой-то черты, не пробиваясь дальше, даже боясь пробиться. И не обязательно мне даже знать, что его испугало в нашем разговоре с макулатурщиком, в листке, который он сжег, как ему казалось теперь, наверное, слишком поспешно, лучше было его сохранить, чтоб предъявить добровольно, отдать, избавиться, подтвердить, что ничего опасного, никакой задней мысли на самом деле ты не таил, не вызывать дополнительных подозрений у кого-то, с кем вообще не стоило бы связываться,

тем более если не знаешь, кто он на самом деле такой и как все переплетено в этом городе — не наше дело...

Нет, главное было не в словах и не в объяснениях; этот всемогущий и всезнающий великан тоже, как я, скорее чувствовал, чем понимал, веяние угрозы, которую я невольно, помимо желания усугублял, как будто нечаянно сочинял в собственном уме повороты своей и общей жизни, почему-то именно так, а не иначе, и потом ничего уже не мог с этим поделать. Много ли надо? Где-то бабочка махнула крылом, сдвинув неощутимое воздушное равновесие, — и вот в невидимом далеке уже зарождается ураган. Тебе лишь кажется, что именно его ты предчувствовал, если не предвидел. Ни с чем нельзя совладать, приходится расплачиваться за что-то, сделанное даже не тобой, до тебя; привидевшаяся было удача ускользает из рук, точно в повторяющемся сне, когда не можешь найти слов для самого важного, как не можешь найти в том же сне той же страницы, где как будто вписал не ту цифру, и уже не можешь исправить, и не можешь найти листка, утраченного навсегда, но все-таки ищешь, не в силах расстаться с надеждой... Или не можешь вспомнить слова роли, когда на тебя уже смотрят из темного зала, или тычешься не в ту дверь, и опять не в ту, и кого-то все время теряешь, все безнадежней, все безнадежней...

— Подожди, — говорит папа, отодвигая стул, — я сейчас. Сейчас я тебе все объясню...

Все-таки решил удостовериться, нет ли кого за дверью, а может, и дальше, на другом этаже незащищенного и не защищающего жилья, так долго его нет. Так долго. Боже, как ты боялся его потерять — когда вы играли в прятки где-то в чужом, незнакомом месте, или отстав на городской людной улице, или в пустой темной комнате, когда они с мамой так же вот долго не возвращались, — боялся не за него; с мамой еще могло что-то случиться, но он был так силен, что казался бессмертным. Страшно было детское чувство потерянности. Трудно было уверить себя, что это игра, что сейчас он выйдет из-за кустов, из-за ствола толстого дерева, из-за угла дома, или, может быть все просто окажется сном, который не может не кончиться — ты еще не умел не верить в счастливый конец.

Прикрыть глаза, чтобы не думать. Сделать так, чтобы он вернулся. С некоторых пор я научился переиначивать сны, во всяком случае ускользывать из трудных и постыдных. Где-то я читал, будто обманывать себя можно лишь наяву, сны такой возможности не дают, самообманных снов не бывает. У кого как, мне удавалось. Например: в автобус входят вдруг контролеры, а у тебя, как всегда, нет билета — можно, оказывается, не дожидаться позора, проснуться, но при этом не до конца, вся тонкость, все искусство в том, чтобы не до конца, потому что все-таки надо куда-то доехать, в какое-то желанное место, к чему-то, от чего так не хочется отказываться. Наверное, папа это тоже умел. Если нет, я мог

бы его научить: даже не открывать глаз, вот так, просто переждать время, когда проверка закончится, где-то в промежутке между сном и бодрствованием, там есть, оказывается, еще какой-то зазор, вот в чем удача, а потом вернуться в тот же автобус, на то же, еще теплое сиденье...

Я открываю глаза: где же он?.. Какое сейчас время дня или ночи?

Вниз по лестнице, слабо освещенной через пролет. Потолки облеплены черными спичками. За дверью глухонемой Дуся, маленькой круглолицей старушки, хрюкает поросенок. Работая посудомойкой в столовой, Дуся имела возможность носить ему ведрами пищевые остатки, а будучи глухонемой, ухитрилась пока игнорировать соседские протесты. Она умела пользоваться привилегией своей ущербности и до сих пор, говорят, не выписывала со своей жилплощади брата, бесследно исчезнувшего сорок лет назад...

Я уже задыхаюсь, уже перехожу на шаг, тем более что мешают идти встречные. Откуда их столько? Сгустились в толпу, не продерешься... но вот наконец невдалеке, среди чужих лиц, папино. В тусклом свете оно лишено возраста, как на старой любительской фотографии. Белые парусиновые тапочки свеженачищены зубным порошком, пиджак со значками ушедших лет (кругляш на цепочке, силуэт стрелка с винтовкой — отличного стрелка) одолжен у приятеля для свидания с мамой, единственные брюки выдерживались всю ночь между матрасом и досками общежитейского лежака, чтобы к утру выглядеть глаженными. Почему он не надел пальто, ведь холодно? Лицо повернуто ко мне, но глаза не видят. Я пробиваюсь к нему мимо чужих тел, пахнущих нечистой одеждой и чем-то еще, пока не распознанным. Черты искажены отблесками факелов, рты разинуты в крике одушевленного единства, я не различаю слов, лишь пар короткими облачками вылетает в холодный ночной воздух. На меня начинают оглядываться, я будто удивляю остальных какой-то необычностью; от этих взглядов мне почему-то не по себе. Папа из-за чужих голов делает мне знаки, он тоже выразительно выпускает изо рта пар — и я догадываюсь, чем привлекаю внимание: не видно примет моего крика. Выдыхай вот так, — показывает мне отец, и я его понимаю без слов, — хотя бы одни гласные: е а-а, е а-а, говорить не обязательно, пусть только видят, что звуки изо рта идут, здесь за этим следят. Ну, может, перед «е» слегка сомкни губы, это ведь вовсе не означает никакого слова, буквы и звуки могут вовсе не иметь смысла, не воображай лишнего, это вообще от тебя не зависит, это не зависит ни от кого отдельно, пойми. Каждый в отдельности здесь, может, и не кричит ничего осмысленного, а если у всех вместе выходит что-то страшное — то не мы тому виной. Все решено без нас, изменить ничего нельзя, надо просто с этим считаться, как с условием данной нам жизни. Ведь это тоже ради тебя, все ради тебя. Потому что надо было остаться живым хотя бы для того, чтобы ты мог родиться.

В свете факелов белый пар над черными ртами, черные тела людей пахнут нечистой одеждой и страхом, и те, кто дремлют до поры в их крови и плоти, уже вбирают в себя больше, чем им будет дано потом осознать. Нет, нам не дано слиться в общем выкрике, в общем исступлении, в общей пляске, как делали наши далекие предки, когда хотели общаться с духами, в этой толпе мы еще больше разобщены, чем по отдельности — мы лишь сильнее боимся друг друга; но есть между нами другая связь. Ты еще не знаешь, как это страшно, — звучит в ушах удаляющийся голос, — я потом тебе объясню. Дело не в обмане и не в угрозе, даже не в обещании и надежде... но от чего-то просто нельзя до конца отделиться, обособиться...

Нежность и жалость, и отчаяние, и стыд за то, что подглядел слабость и уязвимость старшего, давшего тебе жизнь, как подглядывают наготу.

Рот без зубов, гнойный колтун на ресницах, тюремная полоска пижамы... кто это?

Нога соскальзывает все в тот же след, уже затверделый и тесный ступне. Я опять потерял его из виду. Где ты? Не уходи! Дай мне руку, чтобы пойти вместе. Дальше, дальше. Редет толпа, неясная тень сливается с темнотой. Ночная поземка завивается мраморным узором по серому, следов не видно, я снова не знаю, куда идти, где искать. Не светятся окна в холодном квартале. На веревках постукивают друг о друга плоские безголовые тела, утратившие объем и душу. Отец, я потерял тебя! Где ты? Где я? Ты чего-то не успел досказать, я не сумел услышать. Думал, еще будет время. Где ты?.. Собственный голос доносится до меня издали, меня уже там нет.

9. Наугад

Я понимал, как глупы и бессмысленны эти попытки найти ее, не зная адреса, но снова блуждал по чужим улицам, пытаюсь угадать за одной из непрозрачных стен женщину, возникшую в моей жизни на краткий недостоверный миг, чтобы затем исчезнуть, как безнадежно исчезали, таяли, растекались женщины моих повторяющихся сновидений, оставляя лишь стыд влажной, липкой опустошенности.

Мне надо было найти ее как будто для того, чтобы что-то сказать или спросить — как будто я в самом деле сумел вспомнить что-то еще из нацарапанного слабым карандашом вокруг черного штемпеля, и надо было подтвердить, утвердиться в собственном понимании или чувстве. Я искал ее, не зная адреса, направляемый одной только внутренней потребностью, она пере-

страивала клетки в теле, создавая тягу, подобную магнитной — шел, то ли выбирая направление, то ли подчиняясь этой тяге, на самом же деле наугад, в дурацкой надежде на какую-то маловероятную случайность. Не на встречу, нет, второй раз такое было бы уже слишком — но вдруг в этой части города, название которой, недостоверно уловленное на слух, было единственным приблизительным ориентиром, кто-то узнает меня, то есть на самом деле опять обозначается, примет за другого ...

На домах не было табличек. Я брел по улицам, не имевшим названия, сочиняя слова объяснения, заранее не нужного — не потому, что было мало надежды произнести их вслух, да еще непослушным своим голосом, а потому что сам чувствовал фальшь, не в них, а за ними, где оставался другой и подлинный смысл. Незавершенные новостройки были похожи одна на другую и на те, среди которых я заблудился в прошлый раз. Словно возвращаешься опять к тем же котлованам, разрытым траншеям, залитым талой водой, переходишь по тем же хлипким мосткам, даже оскальзываешься в том же самом месте на глине, утяжеляющей ботинки, снова стараешься поставить ногу в уже готовый, проверенный с прошлого раза, подсохший и устойчивый след. Начатые и брошенные фундаменты, неразвившиеся каркасы, недостроенные панельные стены смыкались, не оставляя между собой прохода, а иногда и просвета, как приставленные уголками костяшки домино. Там же, где возникал просвет, видна была все та же громадная труба, словно ориентир, указывающий сразу все направления, но путь к ней все равно оказывался перерыв и загорожен. И никакой строительной техники вокруг — да и как бы она пробралась сюда через траншеи и ямы?

А как она выбралась отсюда?

Чувство казалось обманчивым. Действительно ли я здесь уже проходил? Или место было просто похоже на какое-то еще? Моя память не позволяла ничего утверждать — ведь невозможно было сохранять отчет в каждом шаге вот этой дороги. Вдруг обнаруживаешь, что уперся в котлован, неотличимый от других, не отмеченных, но каким путем ты сюда попал, из сознания выпало и вряд ли когда-нибудь вернется в него, а значит, и в жизнь — с каждым ее отдельным движением, шагом, попутным деревом и попутной мыслью. Попробуй в любой из вечеров восстановить прожитый день — подберутся лишь клочки, малосвязанные частицы, ошметки, их всех вместе никак не хватает на полное число часов и минут, из которых этот день должен бы состоять...

Где-то вокруг, среди не жилых на вид стен, угадывалась жизнь, от которой я все время оказывался странным образом отделен, с которой не мог соприкоснуться. На неогороженных балконных выступах с фанерными бельмами вместо стекол сушилось белье, на крышах строительных вагончиков играли дети, но я не мог приблизиться к ним — траншеи каждый раз уводили прочь, и бессмысленно было кричать, чтобы спросить дорогу или просто привлечь к себе внима-

ние — голос терялся в воздухе, оказываясь бессильным. Порой ноздри улавливали донесенный отдельной воздушной струйкой запах кухонного керосина, чад подгоревшей картошки и рыбы, дуновение жилой утретой затхлости из приоткрывшейся где-то, но невидимой двери. Я оставался сам по себе, я не мог в эту жизнь проникнуть. Дотаивали остатки грязного снега, но капли, срывавшиеся со ржавых сарайных кровель и бетонных козырьков, были сияюще прозрачными.

Знакомое с детства чувство, что в мире нет ничего заранее некрасивого: своя красота была даже в этих серых бетонных панелях, в грудах щебня и мусора, в солнечных бликах на лужах, по которым так прекрасно пускать выструганные из щепок кораблики, даже сырой запах земляных канав бывал сладок и таинствен, если туда спрыгнуть, спрятавшись ото всех. Ободранный рыжий кот, подняв хвост, пробирался по бетонной трубе к кошке, а та пока не замечала его или делала вид, что не замечает; подняв голову в небо, она примеривалась к пролетавшему вертолету: стоит ли залезть повыше на дерево, чтобы попробовать его цапнуть — но тут кот приблизился, и оба почти одновременно сиганули вниз. Несколько темных фигур в отдалении пронесли на плечах что-то длинное, как гроб, а может, и в самом деле гроб. Возмутила воздух криком пара тяжелых ворон. Совсем близко проплыл пущенный из соломинки пузырь с запечатленным радужным отражением: оконный переплет, крошечный, искривленный, у окна тень чьей-то головы, угадывался как будто даже светлый блик на щеке... но шар уплыл дальше... Рыжеволосый, без шапки, мужчина нес в голубом одеяле новорожденного, ослабевшая мать с трудом попевала, и все они отражались в спокойной луже с сияющим синим небом и белыми, отяжелевшими в воде облаками...

Однажды мне это увиделось явственно: каждый, как я, ходил, окруженный прозрачным, не отчетливым по краям шаром, в центре которого всегда был он. Шар был особым миром каждого. Они не имели определенных границ и могли пересекаться, проникая друг в друга, охватывая совместно общее для многих людей пространство; порой могло даже показаться, что по крайней мере у близко стоящих друг к другу эти пузыри почти совмещены, обладатели их должны видеть и ощущать одно и то же. Неизбежно обнаруживалось, однако, что это не так, тогда возникало недоумение, порой раздраженное: неужели кто-то другой не видит, не понимает очевидного для тебя? Мир другого всегда был окрашен в другие цвета, полон других звуков, запахов и воспоминаний; чтобы ощутить это, надо было быть другим, с другими глазами и ушами, другим телом, другим умом и другой жизнью. Для кого, кроме меня, существовали, например, газеты, которыми я утеплил с утра свои старые башмаки и которых никто другой, слава Богу, видеть не мог? моя головная боль и сны, о которых нельзя было рассказать? Даже те, кто слушали как будто одну музыку, слышали на самом деле разную.

Голоса слышались где-то совсем близко; невидимые люди шли по дороге, отделенной от меня теперь навалом бетонных глыб разной формы с торчащими из них арматурными штырями. Между глыбами оставался промежуток, обещавший короткий сквозной проход. Туда вначале вело даже подобие утоптанной дорожки, и хотя она рассосалась у кучек засохшего кала, мне казалось, что можно все-таки пройти дальше. Мешали штыри, приходилось то перешагивать через них, то пригибаться. Из ближней глыбы вдруг уставился на меня в упор одинокий скульптурный глаз почти в человеческий рост с глубокой воронкой зрачка. Там уже накопился слой грязи, а на ней зарождался свой миниатюрный пейзаж с сухими прошлогодними былинками... Приходилось искать обходное пространство, местами уже почти протискиваясь в тесном лабиринте, попутно распознавая части гигантского бетонного лица и тела, то ли еще не собранного, то ли уже разваленного; оно физически подавляло своей несоразмерностью человеческому существу — несоразмерностью, которую не замечаешь, когда монумент вознесен над тобой. В вертикальном завитке ушной раковины можно было уместиться, как в футляре. Пальцы растопыренной пятерни создавали несколько очевидных тупиков, их следовало обойти все разом. Зато непреодолимым препятствием оказался лежавший на боку зашнурованный башмак. Штырь, торчавший из его подошвы, погнулся о соседнюю штанину и оставил для прохода совсем маленький просвет. Мысль о возвращении через тот же лабиринт была тягостной. Я попробовал все же протиснуться, подбирая живот, продвигаясь по миллиметру, чтобы не порвать одежду. Был момент, когда мне показалось, что я застрял окончательно, но тут снова, уже где-то совсем рядом послышались женские голоса.

— Как ты думаешь, девочка выживет?

— Сейчас узнаем.

— Ой, боюсь, не жилища она.

— Мать тоже хороша.

— Не говори! Стерва.

— А Майка по-твоему лучше?

— И зачем-то еще ей этот псих нужен.

— Сейф, вот увидишь, он вскрыл.

— Должны сказать.

— Уже скоро.

Я дернулся еще раз, еще — и почувствовал, что высвобождаюсь. Отлетела лишь одна пуговица, да каменный прах отерся о куртку. Я стоял теперь на твердой дороге, перед высоким облупившимся фундаментом. Выше уровня глаз дом был деревянный. Из-за высокого окна, из-за двойных беззвучных рам смотрело на меня белое, расплывшееся по стеклу женское лицо с красным пятном рта. Я тоже уставился на нее, не зная, как спросить — и что? Но, должно быть, весь мой вид выражал вопрос. Ноготь постучал изнутри по стеклу, привлекая мое внимание, затем большой палец показал направо и обозначил вдобавок дугу, наглядно объясняя, что вход с другой стороны.

Деревенским душным теплом дохнуло из темных сеней. Коза, лежавшая у порога на клоке сена, которое из-под себя же выдергивала для жевания, не подумала пошевелинуться, чтобы меня пропустить. Пришлось через нее переступить. В комнате было немного светлее, запах здесь был другого рода: запах болезни и человеческих нечистот. На кровати, высоко приподнятая на подушках, полусидела старуха в рубаше и белой косынке; похоже, она обмаралась, но никто не обращал на нее внимания, да и она сама как будто ничего не ощущала. Помещение было залито сиянием цветного экрана — как на картинках времен моего детства, на которые надо было смотреть то через красное, то через синее слюдяное оконце, и тогда густело, выявлялось изображение, неразличимое обычным взглядом. Над изголовьем кровати раскинулась пальма, поодаль синело море. Лица в этом свете выглядели загорелыми. «Ты хочешь знать правду?» — сказал смуглый усач и провел рукой по щеке женщины, штопавшей на лампочке детские колготки. Она смахнула с глаз слезу тыльной стороной руки, отложила штопку. «Не говори так», — сказала женщина; теперь она была не в домашнем халате, а в синем, под цвет моря, платье, которым премировали ее наконец вместе с путевкой в этот санаторий за двадцать пять лет работы у макулатурного чана. «Не говори так», — в один голос с ней прошептали другие, смахивая слезу. Все танцевали сейчас с усачом, склонив головы на плечо его розового пиджака, даже обмаравшаяся старуха, и он не замечал никакой вони, он нашептывал ей те же слова, что и всем, обнимая рукой молодую оголенную спину в глубоком вырезе платья, и одноногий инвалид на табурете ощущал прохладу этой спины под своей шершавой ладонью, отсутствие ноги не мешало ему танцевать плавно и задумчиво. Существовала лишь эта способность чувствовать, а не старость, вонь и увечье; и меня для них не существовало, я значил здесь меньше зрителя, вошедшего в зал после начала сеанса: его не замечают, даже когда встают, чтобы пропустить на место, но по крайней мере хоть ощущают помеху. Я был тенью, непонятным образом проникшей в их мир, через меня просвечивал морской горизонт и белые колонны... но тут среди них, едва не задев столик с цветочной вазой, приоткрылась некрашенная дверь, показался край лица с глазом, высунувшаяся голая рука поманила меня.

— Ты чего, заблудился? — сказала женщина, когда я вошел. Впрочем, возраст ее по лицу трудно было определить из-за густой косметики; возможно, совсем еще девчонка, намазавшаяся для игры белилами, румянами и помадой, в ситцевом цветастом халате с короткими рукавами. На широкой незастеленной кровати спиной к мятой подушке сидела большая кукла с таким же круглым, подкрашенным и потому пугающе-недетским лицом. В комнату боком выходила печка, я ощутил жар от нее. — Побрился, что ли, не пойму, — сказала она тем же хриплым полусшепотом; он отзывался во мне смутно знакомым волнением. — Ты чего, тоже ящик не смотришь? Тоже, что ли, дефектный?

— В каком смысле? — смутился я.

— В таком, — она покрутила пальцем у виска. — Мне смотреть нельзя, потому что я дефектная. Они скоро трахаться с ящиком будут. А я так люблю.

Меня поэтому из дома не выпускают. И пальто забрали, чтоб не убегла. Ничего, уже потеплеет скоро. Вот им, — она приставила локоть к низу живота. — Тебя не заметили, как ты вошел? Да они ничего не видят. Сейчас. — Легким быстрым движением обошла меня, накинула на дверь за моей спиной крючок.

— Я Майю ищу, — пробормотал я. В куртке стало совсем жарко, но жар, который я теперь ощущал и узнавал все отчетливей, не был свежий жар дров — другой, сладковатый, чуть приторный.

— Ты чего? — забормотала она непонятно, приближаясь, глядя мне в глаза. — Я за Маю... не замаю. Ты чего? Не узнаешь? — накрашенные губы улыбались, пальцы медленно развязывали поясok халата. — Ну? А так?

Я это уже видел — под распахнувшимся халатом сияющее тело с густыми волосами под пупком, грозди торчат в стороны темными пронзительными сосками, правая немного больше... Если б не это лицо, будто приставленное от кого-то другого или нарочно замаскированное... но что лицо! я в самом деле готов был узнать... Разве не этого я искал, думая, будто хочу другого, будто хочу что-то спросить или сказать, будто вспомнил какие-то слова, а на самом деле сочинял вот это, как сочиняют, не сознавая того, сны. Ты просто не можешь себе в этом признаться, потому что знаешь: тебе даже не положено думать о таком... это не для тебя. Светлые волосы, расчесанные на прямой пробор, стекают на плечи, как жидкость, ресницы не подведены — не успела, или забыла, или не нашлось туши — от этого зеленоватые, чуть выпуклые глаза кажутся нездоровыми, воспаленными, но взгляд их обволакивает знакомым, невесомо-липким, как паутина, расслабляя мышцы, размягчая кости, губы пахнут розовой конфетной начинкой, пупырышки вокруг сосков, грозди кровоточат на жарком солнце.

— Я за Маю... не замаю, — дышит она мне в рот, прижимаясь жарким и мягким телом. — Ты чего же так долго пропадал, мой миленький, я же все ждала, все у окошка высматривала. Помнишь, как мы с тобой в трубе?.. Когда они хотели меня в училище отдать. Чтоб я потом ишачила, как они, до старости рукавицы шила. Думаешь, просто так жить, взаперти... да если бы жить, тут ведь никто не живет...

Я помнил и этот страх — не тот, от которого бегут, но тот, к которому тянет, и облегчительную возможность ничего не решать, словно не ты здесь мужчина, а она, запертая в истекающем соком воздухе — но еще примешивалась, ослабляя, мысль о своей способности к измене, как будто кто-то обязан был хранить никому не обещанную верность, как будто, оставшись здесь, ты уже не сможешь найти ту (которая, ты знал, и думать о тебе не думала, и не ждала)... То есть и ты не думал такими словами, я вообще ничего не думал словами, а тело между тем обнаруживало способность жить самостоятельно, как хозяин, посмеивающийся над тобой.

— Ну? Ты что? Это еще не забыл? Не забыл, — подтвердила прикосновением мучительным и сладким. — Давай я сама. Ух ты, как натянул, пуговицу не просунешь. Зачем эти пуговицы... молния удобней... вот так, — бормотала она, дыша мне в лицо розовой сладостью, и теперь я уже боялся, что не выдержу, как бывало, когда не успеваешь проснуться... но тут в дверь застучали.

— Открой! Открой, стерва, ты с кем опять заперлась? — слышался бабий голос. Крючок дрожал в дужке от толчков.

— Опомнились, — вполголоса злобно прошипела женщина и, обмякнув, отстранилась от меня; вместе с ней обмякли стены, и предметы, и воздух, и все во мне. — Щас открою, — крикнула она громко. — Запереться нельзя. — И снова вполголоса — мне: — Не бойся... застегнись только. Пойдем, — потянула меня за руку к двери, не замеченной мною за печкой. — Вот здесь пройдешь. Через вторую кухню. Я под Новый год тут засов сломала, до сих пор не поставили. Там жилища снимает... ну, скажешь что-нибудь.

Отодвинула задвижку, открыла дверь. Я вышел в подобие темной кладовки, словно в переходную камеру, с тускло отблескивающими стеклянными банками на боковых полках у самых глаз; еще за одной дверью открылась кухня. Несмотря на дневное время, там горело электричество. Женщина обернулась ко мне от стола.

10. Опьянение

Замереть, не двигаясь... не спугнуть даже шевелением мыслей.

— Значит, все-таки пришли, — говорит она, не поднимаясь из-за стола, говорит тихо и без удивления, как бы не для меня. Как будто я наконец сделал то, чего она давно ждала, а я не догадывался. Как будто это было самое простое и естественное дело — найти ее вот так, без адреса, войти через лабиринт невероятностей и совпадений с чужого хода (вернуться в ее жизнь, только не с той стороны, едва не заблудившись по пути, и ощутить, как что-то успело измениться, пока ты блуждал — в тебе или в самой жизни). А ведь ей-то даже искать меня было не нужно. Если бы, конечно, хотела увидеть. То есть, может, она как раз и не хотела, и слова ее выражали досаду на сбывшееся опасение. Пришел все-таки, разыскал, явился... неизвестно зачем...

Но я уже сам знал, что это не так — точно сам слышал, о чем говорил с ней, провожая, отец, точно видел, как он идет рядом по слякотной, плохо освещенной улице, придерживая ее под локоть движением, которое считалось галантным четверть века назад (мама говорила, что он был кавалер и танцор, хотя и тогда не мог похвастать стройностью), помогая обойти натаявшую черную лужу, и как бы вскользь, осторожно пытается выяснить, зачем могла придти незнакомая женщина к такому, как я; я был способен не только понять его насто-

роженность, когда он услышал про очередное недоразумение — не со мной даже, а как бы опять угодившее в меня, зацепившееся все за тот же злополучный листок, — но ощутить изнутри собственного тела и собственного ума шевеление тревоги, когда он услышал про моего неясного двойника, и что с ним произошло, и особенно когда упомянута была Зона — ему этого было достаточно, даже если она ему не рассказала всего, что мне — ревниво хотелось думать, что не рассказала, ведь есть вещи, которые рассказывают не всем и не в любую минуту; возможно, и он не говорил ей про меня всего, что мог бы, не объяснял, почему надо оставить мальчика в покое: да ведь взрослым людям такие вещи должны быть понятны с полуслова — они оба испытывают облегчение, когда наконец подходит автобус, как всегда переполненный, и только для окончательной уверенности, уже подсаживая ее на ступеньку: «Вы поймите меня правильно», — а мог бы и этого не говорить.

— Я понимала его больше, чем он сам думал, — усмехается она. Тикают на стене старинные ходики; циферблат облуплен и засижен мухами. Запах кухонной клеенки перебивает все прочие — запах чужого временного обиталища, который она даже не постаралась вытеснить, заменить своим, чтобы приспособить жилье к себе, как это свойственно женщинам, словно даже умышленно не хотела создавать здесь уют, чтобы не сделать приятным свое пребывание в этом временном укрытии — подчеркнуто временном. Из-под железной кровати за дверью выглядывает коричневый чемодан... — Ну, чем же вас угостить? — спохватилась она. — Видите, как я здесь живу... без хозяйства. Вот, консервы есть рыбные, хлеб. — Тронула в шкафчике плоскую бутылку с иностранной наклейкой — вернула на место. — Пить вам, конечно, нельзя. А я вот привезла с собой. Иногда бывает нужно... когда все время на нервах. Вдруг прямо трясти начинается. Видите, как мало осталось. Ну, напоследок хватит.

Нет, она еще не налила себе, бутылка еще оставалась в шкафчике, а у меня и подавно не могло возникнуть даже мысли об этом, но в голове, во всем существе уже зарождался теплый, кружащий мысли шум, как бывало, когда я оказывался среди выпивших людей и точно хмелел вместе с ними, хотя язык у меня и не развязывался, наоборот, речь застревала окончательно, я только чувствовал за других эту потребность выговориться — тем более после такой долгой невозможности, одиночества и немоты на этой вот чужой кухне, за этим чужим столом — объяснить вслух, отчетливыми словами хотя бы самой себе, почему ты все еще не уезжаешь из этого нежилого жилья, из этого пугающего города, хотя уже решила уехать, уже прекратила попытки — какую последнюю ниточку или живую жилку надо было для этого перерезать неумолимым целельным хирургическим скальпелем, чтобы наконец освободиться, очнуться, выздороветь. Безумие, в самом деле, мучиться — нет, даже не надеждой, неизвестно чем — только потому, что тебе отказывают в бумажке. Но может, еще большее безумие ждать, что бумажка — всего лишь бумажка — способна изменить чувство и жизнь.

— Знаете, я ведь до сих пор не решилась взглянуть на его фотографию. Как будто боюсь. Чего?.. Утратить что-то последнее? Нельзя оглядываться на тень... вот что это, оказывается, такое. Проще не знать, чтобы надеяться. Это я от него однажды услышала. Но только сейчас дошло... словно высветилось...

Там было, там было и про это, — хочется мне опять сказать. — О надежде, которая расслабляет, не дает пробиться к какому-то последнему и главному пониманию, о ловушке для ума или души... Мне опять казались знакомыми эти слова, я даже откуда-то знал как будто зачатки сюжетов: о секретности, устроенной, чтобы скрывать отсутствие секретов, о больнице, где испытывался чудодейственный препарат, который не излечивал болезнь, но позволял жить, не ощущая ее, даже не подозревая о ней, с чувством полного и умиротворенного счастья, смущать его какими-либо толками или сомнениями было недопустимо, всякие сочинительские фантазии лучше было держать при себе, чтобы тебя не поняли слишком грубо, слишком поверхностно, вот в чем была беда. Его то и дело понимали не так, подозревали невесть в чем, в злостных вымыслах или разглашении тайны, к которой он не мог иметь доступа, куда-то вызывали, допрашивали. А то вдруг находит в кармане пальто записочку с жалобой невесть на что, на какую-то квартирную несправедливость. Нашли заступника, правдоискателя, пострадавшего! Писателя! И он, представьте, даже куда-то ходил, старался, вызывал новые подозрения, неприязнь — и при этом чувствовал себя виноватым оттого, что не может помочь. Ничего нелепей нельзя было вообразить. Кому в самом деле он был способен помочь? О, Господи!

Мая качала опущенной головой, я видел ее густые волосы, чувствовал их сладковатый, как будто дымный запах.

— Но, может, они... эти люди... не просто подозревали — они чуяли больше меня. Не мне говорить. Я его сама, оказывается, по-настоящему-то не понимала. До этого надо было дожить. Он мыслил слишком для меня густо. Приходилось разбавлять. Может, все его сочинительство было попыткой развернуть, растолковать — окольно и многословно, чуть ли не с картинками — то, что нельзя было выразить так, как он один это чувствовал... только приблизиться. И все не хватало времени. Но он ведь и жил так. Ему бы следовало засчитывать год за три... это я так однажды сказала ему, в шутку. Вы лучше не старайтесь больше вспомнить, не надо, ни к чему вам. Он был младше меня и на вид казался... вот как вы. Но в чем-то был много старше. Такое даром не дается...

Возможно, в этот момент она вдруг резко встала, вынула из шкафчика бутылку, фаянсовую чашку, плеснула в нее: «Извините, — сказала, — я, пожалуй, все-таки выпью»; а может, это произошло раньше — шум, тревожный, волнуемый, обволакивал мозг, как пар, путая последовательность происходящего. Я слушал сквозь этот шум о человеке нелепом, неумелом, которого ничего не стоило обмануть в житейских делах, который как будто не умел держать в руках деньги, во всяком случае удерживать, и тем больше восхищался чужой, особен-

но женской способностью устраивать повседневную жизнь — но непреклонного в чем-то другом, чего не мог или не хотел объяснять...

— Нет, может, он и сам себя не до конца понимал. Может, ему лишь казалось, что он всего навсего сочиняет. На самом деле он что-то умел чувствовать, что-то знал, непонятно откуда. И вовсе не насчет ворованного цемента. Я вам рассказывала про тот обвалившийся балкон? Такие совпадения случались не единственный раз, и они его самого смущали. Как будто здесь было больше, чем совпадение. Как будто он угадал, сгустил именно ядрышко, зародыш, и вот само собой развивается, разрастается то, что там уже было внутри, и ты уже над этим не властен. Не знаю. У него и про это было что-то вроде наброска. Про сдвиг ума, когда человек словно бы перенесся в состояние трехлетней давности, но при этом помнил все, чему предстояло произойти. То есть предстоящее казалось ему лишь пока что неосуществленным, но он все про него уже заранее знал. И мучился от того, что не может ничего поделать, хотя уже знает, что предстоит ему, и не только ему. Ужасно, не правда ли? Даже пересказывать ужасно... Но мне казалось, он сам мучился чем-то подобным. Только представить... Как будто ты уже не имеешь отношения к жизни, тебе дано лишь бес- сильно наблюдать ее откуда-то со стороны, из другого измерения... Так что сама жизнь представляется мнимой. Да, может, и в самом деле мнимая. Только другим дано этого не замечать.

Я боялся даже кивать, подтверждая понимание — точно узнавал не чужое, свое... только в голове шумело все восхитительней...

— Нет, вам нельзя, — встрепелась Майя. Я даже не осознал, как моя рука потянулась к бутылке. — Что вы! Вы ведь наверное никогда не пили? Нельзя. Что я скажу вашему папе? Вот, лучше я вам еще бутерброд сделаю... Ну, пожалуйста, не надо... А впрочем... Тогда и я с вами. Остаточек. Это ведь на прощание, правда? Мне надо поскорей уезжать... убежать без оглядки. Именно без оглядки... Не знаю, не знаю. Может, женщине тут чего-то попросту не понять. Ведь наше дело — жить, правда ведь? Просто жить и устраивать жизнь вокруг себя... жилье, еду, одежду. Он к внешним условиям был безразличен предельно. Он и в больничной палате не чувствовал себя несчастным. Как будто не замечал ни запахов, ни отсутствия выключателей — светом там распоряжался персонал, — ни того, что двери запирались трехгранным ключом и окна зарешечены, как в тюрьме. Но так ведь тоже нельзя. И если тебе не важно, где и как жить, то почему бы и не в другом месте, где тебя по крайней мере не колют в задницу неизвестно чем?.. Так я его пыталась убедить. Нет, чего-то главного, я видимо, не понимала...

Сигаретный дым светится вокруг голой кричащей лампы, мы оба плаваем в нем, легкие от мельчайших пузырьков шума, наполнявших и нас, и воздух, шума, похожего на понимание, если можно говорить о понимании в жизни, где продолжала разворачиваться история, зародившаяся в чьем-то смущенном мозгу: там человеку разрешали сменить больничную байковую пижаму на соб-

ственный костюм, поселиться на частной квартире, как бы намекнув на возможность хотя бы до поры затаиться, замереть, не распространять вокруг себя мрачных (почему в самом деле непременно мрачных?) фантазий — разве нельзя попробовать по-другому? а лучше бы всего исчезнуть, уехать, как угодно... и все равно нет уверенности, что ты покинул необозримое, неявное для взгляда учреждение, где персонал мог и не носить белых халатов, продолжая наблюдать за тобой и вне замкнутых стен, в обстановке обыденной жизни, осуществляя неясный, ради общего блага затеянный эксперимент: в любом случае ты никуда не денешься; соседка, вяжущая чулок, сослуживец в кабинете, даже недавний сотоварищ по больничной палате, глядишь, вдруг извлекает из сумочки, из портфеля, из ящика стола шприц для инъекций, и в себя ты придешь уже неизвестно где, а впрочем, внутри все того же заранее предугаданного сюжета, изъятый из общей жизни, и никто тебя в окрестном мире не хватится...

— Не знаю, не знаю... Я начинаю говорить, как он. Но как еще объяснить это чувство... желание освободиться от бреда, в который исподволь начинаешь втягиваться. Еще немного — и совсем в нем растворишься. Вот и освободилась... Но он ведь и про это сказал наперед. Про то, что я все-таки уеду без него. Тем более, что ребенка у нас не получилось. Он говорил: это правильно, так надо. Есть инстинкт, который гонит молодых, а тем более красивых женщин из обреченных мест. Потому что их дело продолжать жизнь. О господи!.. Иногда казалось, он может сказать про меня больше, чем я подозревала сама. Впору было пугаться, до такой степени он не то чтобы угадывал меня, но словно был мною. Не только детдомовский взгляд... это еще можно было если не угадать, то вычислить. Но откуда он мог узнать, что меня изнасиловали в детстве?.. Господи, зачем я это вам говорю... уже язык развязался, а вы все молчите... Мне казалось, я никогда никому не смогу этого рассказать. Если расскажу, мне захочется убежать от этого человека и никогда больше его не видеть. Почему вдруг вам?.. Но нельзя же в самом деле быть таким похожим. Это в конце концов запрещено...

Кукушка выскочила из часового дупла, как из засады, с криком идиотского торжества, точно застукала нас с поличным. Мы оба вздрогнули, и Майя засмеялась чему-то, качая опущенной головой. Ничего никому невозможно объяснить, но пузыри, которые каждый носит вокруг себя, вдруг совмещаются, ты блуждаешь в дымной чаще ее волос, сорок одинаковых железных кроватей стоят на кричаще-желтом, сумасшедшего цвета, полу, сорок маленьких железных клеток, девочка с темными, громадными на худом лице глазами пытается исправить ложкой кривой зуб (вот этот), мальчишеские сатиновые трусы выглядывают из-под короткого платья (там выдавали всем одинаковое белье, мальчикам и девочкам). Ты это видел сам, ты ощущал смрад изо рта насильника-воспитателя, видел мерзкое, в полщеки, сизое пятно — единственное, что осталось навсегда внутри, в памяти, хочешь ты или не хочешь, только это: отращивание, омертвление, чувство, что ты уже никогда не сможешь быть, как другие, что ты не сможешь никого полюбить. Действительно не сможешь — кроме,

оказывается, одного единственного. Одного единственного лица. Вот в чем, оказывается, дело. В единственности.

— Простите, — движением кисти она отгоняет от себя сигаретный дым и вместе с ним видения. — Я запуталась. Не надо было вам этого говорить. Но я смотрю на вас — и мне даже трудно говорить вам «вы». Сколько раз я твердила себе: надо просто жить. Почему он не мог, почему не хотел уехать? Ведь есть же где-то нормальная жизнь, где даже неприятности и заботы обычные, человеческие. Где по вечерам сидят в кафе, болтают о пустяках, страдают от любовных неудач, от чего-то понятного... Или это тоже иллюзия, и нормальной жизни не хватает все того же, все того же? Вдруг чувство, будто ты уже разучилась жить с нормальными. — Покачала опять опущенной головой. — Смотришь на них и думаешь: ну вот, они не испытали того, что он, не знают того, что он. И рассказывать им бессмысленно: не поймут. Есть опыт, не нужный, не обязательный для нормальной жизни. Как есть несчастье, болезнь, безумие. Ведь правда? Нас это не касается. Незадетые этим могут лишь покачивать головами. Сочувственно и с сознанием отстраненного превосходства. Но может, им просто пока недоступно что-то, что далось ему дорогой ценой? Хотя рано или поздно дойдет и до них, это лишь вопрос времени. У него было чувство, будто в мире вообще нарушается какое-то равновесие. И нужно сознательное усилие, чтобы предотвратить угрозу. Здесь это ощущается, может быть, просто острее, чем в других местах. Потому что здесь до последнего надеялись обойтись, решить все каким-то чудодейственным образом... ну, тут уже начиналось что-то вроде фантазий на знакомые темы. Но для него за фантазиями было что-то другое, необъяснимо важное. Это надо было еще додумать, и именно здесь. Как будто здесь мысль работала иначе... Не знаю, не знаю. Может, я уже от него заразилась. Есть, говорят, у животных органы, существующие непонятно зачем, бесполезные в обычной жизни, как будто даже излишние, их, может, следовало бы даже удалить, чтоб зря не воспалялись. И вдруг наука начинает догадываться, что при каких-то обстоятельствах — болезни, опасности — именно без этих органов, пожалуй, не обойтись... Не слушайте меня. Вам это ни к чему... не надо... Почему я говорю это вам?..

Стрелки на часах сцепились. Кукушка высунулась из домика и не хочет назад, молчит, как соглядатай, напоминающий, что вы тут не одни, а может, дремлет, утерев интерес к разговору. Вот что это, оказывается, такое, это существует все-таки на самом деле. Раньше ты мог это лишь предполагать, зная, что для тебя это невозможно, недоступно, в это скорее хотелось верить, как хотелось бы верить в загробное продолжение (с небескорыстной надеждой: а вдруг в самом деле каждому воздается по вере его) — но вот, оказывается, в самом деле, ты способен это испытать: головокружение, и легкость, и сознание невозможности, и бессмысленное, несмотря ни на что, счастье; ты уже знаешь, что такое соблазн и что такое единственное, и сладко откусывать хлеб в том месте, где она его держала руками, и, как музыка, голос, и каждое движение ее, как музыка —

когда она убирала со лба мизинцем и средним пальцем выбивающуюся снова прядь или просто дула на нее, а ты приближал лицо, чтобы уловить дыхание кожей щеки. Краснота простудного раздражения увеличивала край верхней губы за счет кожи, и меня трогал этот живой изъясн, не прикрытый косметикой.

— Откуда ты взялся такой? — говорит она (голос сбивчивый, и сбивчивые мысли, шкафчик, перевернувшись, плавает в дымных облаках). — Как ты мог возникнуть здесь, в этом городе, у этих родителей? Откуда вообще что берется в человеке, в этой выжженной, загаженной, обезумевшей жизни? Не все можно объяснить. И может, в этом надежда. Не от всего, оказывается, можно уберечь, вот чего мы с твоим папой не захотели понять. Гусеница не может не выйти из кокона, только и всего. Если договаривать до конца, я не приходила не только из-за просьбы твоего папы. Хватит с меня одной вины. Но, может, без этого тоже нельзя. Без этого нельзя даже родиться. Тебе не обязательно меня понимать. Я сама себя не понимаю. Бедный мальчик! Зачем ты подобрал чужое? Мог бы жить себе дальше без этого. Или не мог?.. Наверное, не стоило бы тебе приходить. Хотя при чем тут ты... Я сама... надо уезжать поскорей... но нельзя же было не оглянуться...

Снова отводит со лба прядь пальцами, свободными от сигареты, и смотрит на меня, смотрит.

— Ничего, и это пройдет. Кое-что и я умею видеть наперед. Например, что я отсюда уеду и мы никогда больше не увидимся. Невелика проницательность, конечно. Единственное, что можно предсказать без ошибки. Кто-то рано или поздно исчезает из жизни другого. Рано или поздно. А в промежутке происходит то, что называется жизнью. Слышишь, как мерзко тикает это устройство? Отсчитывает. И не остановишь. Как редко мы задерживаемся на этом мыслях. Хотя что все наши заботы перед этой, единственной? Между прочим, я их никогда не подтягивала...

Светится сигаретный дым под лампой, в мозгу, плавает в воздухе, квадратное время повисло вниз головой, благоуханные заросли пахнут дымом нездешних костров, весенним соком, сладкой горечью прошлогодних листьев, волосами древней царицы, темные внимательные глаза смотрят, не отрываясь, сверху, а может быть, снизу. Тысячные, миллионные доли вероятности сходятся ради встречи, и все они ничего не значат перед непреложностью расставания — на время или навсегда, тебе еще не дано этого знать, невозможно себе даже представить, что навсегда; ты еще не заблудился, пустившись ее снова искать, тебя еще не избили в Зоне глухонемые, и ты еще не узнал, не вспомнил чего-то самого важного, что вспыхнет на миг словно от удара по голове, чтобы тут же снова погаснуть. Но даже если бы тебе дано было увидеть события жизни расположенными в разных местах одновременного пространства: вот вы на слякотной улице, тени снежинок под фонарем, как невесомые мухи, и вот вы же на чужой кухне, кукушка вывалилась из часов, а где-то дальше, впереди, весенний

березняк, нежные верхушки сходятся в синеве, стекло и рамка пейзажа в мушиных точках, — даже если бы кто-то мог тебе это показать заранее, все равно этого ты бы не смог изменить. Невозможно даже намекнуть, невозможно предупредить и ободрить.

— Иди, — говорит она. — Сейчас стемнеет, тебе будет трудно найти дорогу отсюда, а я не могу тебя проводить. Лучше не надо. Иди... Можно я поцелую тебя на прощанье?

11. Танец при свечах

Множатся шепоты, отдаются в ушах, усиленные пространством или временем, еще бессловесные, еще не распознанные, еще непонятно откуда... идешь на них с замирающим сердцем, дальше, вглубь, мимо желтых столов читальни, там бледный, стриженный наголо мальчик на своем любимом месте в углу, у батареи, наслаждается пыльным сухим теплом, запахами книжного уюта, чувством родственной принадлежности, которая давала ему право проходить в служебные недра, мимо библиотечных стеллажей с бумажным плакатиком красной и зеленой тушью: «Любите книгу — источник...», мимо старухи в сером, как на фотографии, складчатом одеянии (покачивая головой, она возвращает очередную книгу на полку и берет новую, листает, но все чего-то не может найти) — на поиск родителей, потерявшихся, как в детском страхе.

«Что ты здесь ищешь?.. Я уже с ума сходил. Что ты...»

Дальше, глубже, за шагом шаг, из шепота в шепот, по крошащимся ступеням вниз, в библиотечное хранилище, где книги свалены штабелями, набухают на сводах черные капли, из темных глубин тянет прелью, обмороком и тошнотой, и еще дальше, куда уже не достает свет грязной лампочки, лишь где-то впереди огонек свечи обозначает вокруг себя трепетный шар; еще один огонек приближается к нему, перекидывая по стенам бесшумную тень. Краснеют на просвет пальцы, прикрывающие свечу от встречного воздуха.

Голос мамы и голос отца. «Пойдем домой. Что ты здесь делаешь, в подвале, в холоде, так поздно? Я уже с ума сходил, где ты. Что ты здесь ищешь?» — «Книги. Мне надо найти книги». — «Какие книги? О чем ты говоришь? Вот же они вокруг». — «Это не те. Были другие. Нам их подменили». — «О чем ты говоришь? Как это подменили?» — «Я не заметила. Выдрали из обложек, чтобы сдать в макулатуру, а взамен подсунули то, что там не принимают. Там ведь не все берут». — «Ты шутишь?.. Я не понимаю, о чем ты. У тебя какая-то недостача? Но мы же только приехали. Тут что-то натворили до тебя?.. Да объясни же,

что ты молчишь? Конечно, лучше было проверить, когда принимала дела, но вряд ли это было технически возможно. Столько томов. И в таком помещении. Ужас! Это ты своему начальству в случае чего предъяви претензии: безобразие так содержать книги. Разве ты виновата, что они хранятся в таком подвале? Почему мы должны все время отвечать за кого-то? Что опять за ловушка? У меня похожая история... Нет, а главное, все это ерунда. О чем мы говорим! Странная фантазия... или ты в каком-то литературном смысле? Не понимаю. Ты не виновата ни в чем, успокойся». — «Видишь этот замок на двери? Как по-твоему, что за ней?» — «Не знаю... Ты вся дрожишь. Здесь холодно. Пойдем». — «Там продолжают подвалы. Я слышала про них в детстве. Будто они обширные, целая сеть. И там тоже книги. Или то, что от них осталось. Принюхайся, чем оттуда тянет... неужели не чувствуешь? Страшней, чем в мертвецкой. Замок теперь не открыть. Но перегородка, смотри, фанерная, еле держится, только надавить немного. Даже моих сил хватило бы». — «Ты нездорова. Тебе здесь вредно быть». — «Если то, что было, считать здоровьем. Нам подменили книги, а мы не заметили. То есть как не заметили? Мы сами кинулись наперегонки сдавать что угодно в обмен на неизвестно что. Даже не на бумажки — на сомнительное обещание. Мы в очереди выстраивались, чтобы сдать память, близких, душу, совесть, внутренности. Оставляли себе лишь то, что им не годилось. Для их производства. Не положено по инструкции». — «Ты бредишь. Я не понимаю. Еще скажи, что эта макулатура идет на пасту. Тут кто-то специально, говорят, распускал вздорные слухи. Пока с ним не разобрались. Неужели ты слушаешь бабьи рассказы?.. Дай-ка лоб... Ты больна. О боже! Какие очереди? При чем тут ты? Ты никогда ничего не сдавала». — «Разве я только о книгах! В нас самих, вот тут, что-то выпотрошено и подменено. Мы только стараемся не замечать пустоты и подмены, мы научились извлекать из себя искренность, чтобы казаться себе все-таки настоящими. Хочется ведь себя уважать». — «Я не понимаю. Почему ты говоришь: мы? Что ты придумываешь! Ну рассуди спокойно: допустим, тебе что-то вообразилось. Пропажа, или, как говоришь ты, подмена. Допустим. Но ведь люди, как всегда, приходят, берут, что стоит на полках, читают и возвращают. Так? Никто ничего до сих пор не сказал, никто ничего такого не замечает. Значит, тебе именно почудилось, да? Это же очевидно». — «Я тоже не замечала. Предпочитала не замечать, не вчитывалась как следует. Это ведь даже похоже на настоящее. Открываешь страницу, вот: слова, буквы. Но если колупнуть ногтем, вот так, проступит гной и кровь. Неужели ты не чувствуешь запах?» — «Что значит запах? О чем ты? Боже, как ты дрожишь! — (И голос дрожит от любви, и муки, и жалости, и от надежды, что это пройдет). — Ты нездорова, ты не понимаешь, что говоришь... Ну хотя бы накинь еще мое пальто... Прижмись ко мне»...

Двое приникли друг к другу, создавая и оберегая хранилище внутреннего тепла. Две свечи, прилепленные к стенному выступу, выделяют пространство скудного трепетного света: закрой глаза и увидишь снова. Голос мамы и голос отца, застенные ночные шепоты. «Скажи, у тебя не могло остаться здесь, в горо-

де, каких-нибудь родственников?» И мама, не сразу: «А почему ты спрашиваешь?» — «Так»... Каждый не договаривает свое, и зачем, в самом деле, папе рассказывать ей про кого-то — неизвестно даже кого, показавшегося кому-то на меня похожим? тем более его, наверно, уже и нет среди живых? Ложный ход мысли. И маме незачем упоминать про старуху, чей вид наложился в моей путаной памяти на допотопную фотографию; в библиотеке она больше не появлялась, да и существовала ли на самом деле? Недостовверные тени, ошибка взгляда, смущение ума, только и всего. Нет, у обоих никого нигде не осталось, можно не волноваться. Можно не опасаться, что в почтовом ящике окажется вдруг письмо, на которое опасно отвечать, и даже получать его опасно. Давно нет уже на свете непонятной, почти незнакомой старухи со скрипучим голосом и вздорным характером, никогда просто не желавшей понимать некоторых вещей, учитывать перемены жизни — если не ради себя, то хотя бы ради детей, внуков, ради ближних. Однажды, когда ей пожелали нанести визит какие-то представители новой местной власти, она, говорят, поставила все стулья в гостиной вверх ножками на стол, как будто собралась мыть полы — хотя никакого мытья на самом деле не предполагалось: она просто, видите ли, не хотела, чтоб эти люди при ней сидели. А между тем сама когда-то им же и помогала, она сочувствовала революции. В конечном счете она сама была повинна в своей судьбе, сама навлекла несчастья — и ведь не только на себя, на других, вот о чем она никогда не заботилась...

«Успокойся. Не надо так. Ты словно чувствуешь себя перед кем-то виноватой. При чем тут ты? Не надо»... Звон капли, голоса под сводами, жалость, и любовь, и мука, и дрожь до времени затаившейся болезни. Надо в самом деле успокоиться. Был всего лишь болезненный приступ, нервный срыв, временное помрачение. Что-то подобное уже бывало — и ведь проходило, даже без всякого врача. Даст Бог, пройдет и сейчас. Еще цела слабая перепонка между хранилищем, где бумаги все пытаются удержать хоть видимость членораздельного смысла, и завалами уже размягченного, как беспмятный мозг, вещества; еще обе массы не стали смешиваться, взаимопроникая по законам физической диффузии. Действительно ли можно оттуда еще извлечь что-то, нужное для теперешней жизни? Был ли в самом деле какой-то существенный, неизвестный нам смысл в несовременных, исчезнувших бабкиных книгах? Если был — почему же он никак не сказался на последующей жизни? Или как раз сказался — мы знаем как. А значит — что с него толку? О чем переживать? Хватит того, что осталось... Из невидимых щелей тянет тоскливым запахом разложения, рано или поздно он и так все уравнивает, а пока придется жить, как умеем, раз удалось еще удержаться по эту сторону. Перед кем нам чувствовать вину? Может, это нам впору предъявлять счет жившим прежде за происшедшее после них, за происхождение, которое надо было скрывать, да не всегда удавалось. (Слово «лишенец» звучало угрозой, как буквы непонятного штемпеля, от всего сомнительного надо было избавляться, так во всяком случае надежнее). Лучше всего было убежать поскорей, все равно куда, лишь бы дальше от дома, от пугливых

родственников, разрешавших одну только ночь переночевать у себя в комнате под столом тощему прыщеватому пареньку (латаные брюки, физкультурные тапочки с галошами среди зимы, вместо шарфа вафельное полотенце); ночевать проще было в чужом подъезде, в трамвайной будке, на широком вокзальном подоконнике, не претендуя ни на жилье, ни на продовольственную карточку, зарабатывая на пристани, на шоколадной фабрике: можно было перетерпеть все, лишь бы наконец отделиться, оторваться, дожидаться, чтоб о тебе забыли — пока об остальном не постарается война, не оборвет последние ниточки, не подчистит последние следы.

«Слышишь? Вроде бы голоса?» — «Тебе чудится. Кто здесь может быть?» — «Но вот же... и еще какие-то звуки». — «Это падают капли».

Кольшутся тени на сводах. Двое приникли друг к другу, чуть переминаясь, словно тела сами вспоминают забытый ритм. Твердость мужского плеча, в которое можно уткнуться с чувством защищенности и самоотдачи. Этот плотный, рано облысевший крепыш с чужим значком на чужом пиджаке удивительно умел танцевать: не то чтобы элегантно, а легко, его просто было слушаться. По виду не скажешь. Он даже, оказывается, был знаменит в самодеятельности и на дружеских вечеринках исполнением оригинального номера «Конькобежец», когда безо всяких коньков, неуловимой вибрацией ступни создается иллюзия плавного скольжения с фигурными разворотами, на полу или на палубе прогулочного теплохода, плывущего по каналу, чье дно плотно выложено человеческими костями и черепами — но плывущие их не видят, как не увидят все, кто будут жить потом. Это в самом деле невозможно, не нужно. Так живут все, бестрепетно ступая ногами по поверхности земли, неизбежно над чьим-то гниющим прахом. Невозможно и не нужно на каждом шагу осознавать это. Наше дело заботиться о жизни, в конце концов не только своей — о будущей... только сперва укрыться, отгородиться от чужих взглядов, найти какое-нибудь пристанище, комнату... вот, кажется, дверь...

Спертый страшный запах в лицо, в тесной камере стоят вплотную друг к другу изможденные, с дикими глазами... Что это?.. ошибка... нам не сюда...

Звучно падают капли в подставленный таз; потолок, как всегда, протекает... невелика беда. Главное, наконец, все-таки своя крыша над головой. Матрас лежит на полу, вокруг посыпано ромашкой — от клопов, пока еще в общезжитии, зато потом — какое счастье! — комната в коммунальной квартире, где, правда, надо сдерживать голос, когда хочется стонать или кричать, от счастья или от боли, всю жизнь надо сдерживать голос, не давая зазвучать даже наследственному инструменту — единственному своему избыточному имуществу, но не в этом же дело. Главное — все еще впереди: ночные шепоты, запах кухонного керосина, ухищрения бедности, блаженный вкус слабо подкрашенного кипятка (ведь радость дает не напиток, а утоление жажды), дрожащие, покрасневшие от

стирки пальцы и возобновляющийся праздник слияния. За стеной у соседей играет патефон... ты помнишь это танго?.. за другой не совсем понятные звуки... как будто заело иглоку... как будто повторяется рыдание, вопль или вой...

«Вот... неужели опять не слышишь?..» — «О чем ты? Все не можешь избавиться. Не надо... зачем так?»

Двое приникли друг к другу, прикрыв глаза теплыми веками. Мы не можем знать, что творится за твердой стеной, в соседнем доме и тем более где-нибудь дальше — в этот вот самый миг и час, когда двое любят друг друга. Да если бы и знали... На железнодорожной станции большеголовый ребенок ползает возле мертвой, похожей на мумию, женщины, тычется в иссохшие сосцы... Ужасно; и опять же ничего не поделать с чувством вины и стыда. Но разве можно считать виной, если нам повезло? Просто повезло. Разве мы виноваты, что нам удалась относительно благополучная жизнь? Не беззаботная, нет, но ничего хуже безденежья и болезней. (О страхе незачем говорить, он не миновал никого — уж страх-то был более настоящим, чем что-либо). Разве мы не имели права чувствовать себя хоть изредка счастливыми — несмотря ни на что? Достаточно было так немного...

Звенит капель, отзывается музыкой давней весны. Помнишь, как у нас не было денег даже на трамвай, мы шли домой пешком и по пути нашли десять рублей? Целое состояние. На них можно было тогда купить курицу и бутылку вина, устроить настоящий пир... Много ли в самом деле нужно? Всю жизнь у вас было только необходимое (так проще при опасности снова сорваться с места) — и зачем больше? Разве не это называется жизнью и счастьем — когда шум повседневных забот заглушает другую тревогу, просто не оставляет для нее времени, места в душе? Чего нам в конце концов стыдиться? Кому мы сделали зло? Что это за жизнь, когда обыкновенная способность выжить отдает предательством? От нас так мало зависело. А если еще смотреть телевизор — что творится каждый день по всему миру! Но ведь все смотрят эти навалы обезображенных трупов, слушают про насилия, пытки, издевательства, голод — и что?.. Всего невозможно даже знать, тем более переживать, как свое — жить станет просто нельзя...

Ну вот... никаких больше голосов. Соседская дверь опечатана красным сургучом, как кляпом...

Во всяком случае, мы виноваты не больше других. Так устроена жизнь. Что мы можем с этим поделать? И в конце концов, мы никогда не жили ради себя. Все было ради него, ради мальчика. Даже то, что так долго оттягивали его рождение, слишком долго боялись, не могли решиться. Не потому, что хотелось продлить беспечную жизнь без детей — она никогда не была беспечной; страшно было за него в этой жизни. А потом стало казаться, что уже поздно, не-

поправимо поздно, уже издержаны соки тела — и вот чудо, прощение или наказание, надежда или обещание — что ваша жизнь без него? без тревог и постоянных страхов: выживет ли? Он этого никогда не узнает, ему и не надо знать, какой все давалось ценой, чего стоили врачи и лекарства, и бессонные ночи, когда вы по очереди унашивали его, наблюдая жизнь в гаснущих и зажигающихся окнах напротив, каким счастьем будет успокоенная улыбка и причмокивающие губы со слюной в уголке! Ради него позволительной покажется любая жертва, любая вина — даже вина за то, что вы ухитрились выжить — лишь бы он этой вины не знал.

Голос мамы и голос отца. «А у тебя не бывает чувства, что всю жизнь из нас вот так что-то понемногу уходило? Что мы незаметно становились все менее живыми?» — «Не надо так. Тише!» — «Кто нас здесь услышит? Мы и так шепчемся». — «У мальчика такой чуткий слух, а в этом доме стены совсем проницаемые. Иногда мне кажется, он слышит наши разговоры. И понимает больше, чем мы думаем. Ты не боишься, что он однажды предъявит нам счет?» — «Что ты имеешь в виду?» — «Многое... За то, что его и наша жизнь оказалась такая. Что по стенам ползут трещины, и неизвестно, что будет завтра. За то, что он оказался такой». — «О чем ты?» — «Может, то, что у него с памятью — это наследственное, от нас? Мы над своей так постарались... Ты не боишься однажды увидеть нашу жизнь его глазами? И что он нам скажет?..»

Звучно плюхаются капли с сырых сводов, отблескивают чернотой, рассыпаются призрачной музыкой. Чуть покачиваются, переминаются тела. Вот уже утихла дрожь, болезнь затаилась опять — до поры. Изгиб стана, легкого и нежного под рукой, ложбинка, где спрятался позвоночник. Никому не надо знать, как ему трудно, еще не выявлена причина странной, не известной врачам болезни: словно возросшая тяжесть стала давить на внутреннюю опору... Женская готовность отказаться от своей отдельности, как от наследственного имени. Прижаться, уткнуться в твердое плечо. Ты слышишь? Помнишь эту музыку? Под знойным небом Аргентины, где мы никогда не были и не будем. Мальчику запрещено на юг, да и не до того; еще впереди надежда на выздоровление, а позади все сгущается в плотный короткий миг.

Толкутся в воздухе шепоты, как мотыльки былых лет, звенит капель ушедшей весны, стучится музыка под самым сердцем, на басовых струнах, рассыпается легкими брызгами, стеклянной челюстью. Двое приникли друг к другу, чтобы согреться, прикрыв веками глаза: пусть и глазам тоже будет теплей и покойней. Голос мамы и голос отца. «Помнишь вот это?..» — «Ну, ну, тише. Как будто молодой». — «А разве нет?» Мы все те же, только прежнее существо зарастает, как слоями годовой коры, новой оболочкой, это она изнашивается, грубеет, шатается на последней ниточке зуб, пук светлых волос на затылке уже не такой тугой, да зеркало демонстрирует одрябшую разношенную кожу...

«Смотри лучше в мои глаза».

Свечи кружат хоровод вокруг двоих, прижавшихся друг к другу. Тихо поворачиваются в невидимой вышине звезды. Ничего не восстановить и не возродить, разве что кто-то (может, все-таки не случайно на тебя похожий) успеет прочесть напоследок попавшие к нему перед гибелью страницы — и ощутит отзвук родственного узнавания, и поспешит заполнить неразборчивыми каракулями пространство пустой бумаги, чтобы ее случайно подобрал кто-то, способный прочесть, беспомощный, ущербный, последний в роду — подхватив, словно заразу, беспокойство еще невнятной наследственной мысли... Но может, только это беспокойство и нужно, чтобы что-то зацепилось, продолжилось, не прервалось... Нет ничего вечного, но есть тепло дыхания, волосок на губах, прищипавшийся к дпящемуся поцелую — тленные зернышки, из которых можно вырастить заново внутри себя самого целый мир, если только сумеешь...

Помнишь...

Замереть, не двигаясь. Достаточно шевеления мысли.

— Да, я хочу тебе сказать... У нас, кажется, все-таки будет ребенок.

12. День рождения

Попробовать еще раз...

Невозможность повторить дорогу, проделанную когда-то наугад, почти безотчетно. Идешь вроде бы среди тех же траншей, котлованов и недостроенных этажей, но на самом деле не можешь вспомнить и воспроизвести все эти случайные или вынужденные повороты. Вот здесь, кажется, были мостки, проложенные через грязь, но теперь грязь подсохла, вместо мостков — разбросанные без порядка и направления доски, вся местность имеет другой вид, а убеждение, будто на сей раз ты знаешь, куда идти, только сбивает, заглушая что-то, что прежде было внутренним чувством.

В уверенности, будто можно теперь даже спрямить расстояние, я сумел сделать то, что не удалось в прошлый раз: вошел в одну из раскрытых бетонных ячеек заброшенной стройки, думая пройти ее насквозь, вышел к уступу над высоким фундаментом, с которого не рискнул спрыгнуть, но тут же увидел рядом лестницу, обещавшую боковой обход, поднялся по ней, потом дальше по плитам открытого перехода — и не сразу почувствовал, что заблудился опять.

Если что и повторялось, то все та же безнадежность вынужденного блуждания, только теперь в разраставшемся лабиринте сросшихся бетонных стен и разгородок, обозначающих клеточки намеченной, но так и не состоявшейся здесь жизни, по окаменелостям неосуществленного сплошного города, который не должен был походить на другие, те, что вырастают постепенно, естественно вокруг живущих, приспособливаясь к их меркам и потребностям. Здесь чувствовался особый предварительный замысел и замах, но как будто забытый или отмерший в ходе затянувшегося строительства — в то время как жизнь находила и создавала себе самостоятельные укрытия в зазорах, в окружающих временках, они оказывались надежнее бетонных конструкций, да, глядишь, и долговечней их: так непрочная живая кожа оказывается долговечней изготовленных материалов, которые успевают не раз сноситься и истлеть за короткий человеческий век. Безлиственные, мелкие, как прутики, деревца, кустики и трава само собой вырастали среди окаменелого вещества то там, то тут высоко над землей, из щелей и трещин, на завалах строительного мусора, на скопившейся из грязи почве, как будто начиная новую нечаянную природу, ту, что когда-нибудь разрастется среди этих разгородок, точно во внутренних двориках, между твердых надобов, вытеснивших прежние леса, покроет неживые плиты. Застоявшийся промозглый холод ушедшей зимы держался внутри слипшихся, как соты, ячеек; но почки на прутиках уже набухали зачаточной зеленью, кренился бурелом отмерших былинки; в скворечнике, прибитом к металлической штанге, устраивались вернувшиеся хозяева.

Неогражденные переходы соединяли дома на уровне высоких этажей. Откуда-то снизу доносились голоса, мужские, женские, знакомые возгласы играющих в прятки детей. У них, как всегда, были свои игры, и как всегда, к ним было не попасть, не спуститься — не вернуться в случайно удавшийся сон. Тебе лишь померещилась однажды, что ты можешь войти на равных в чью-то жизнь. От высоты бесконечных переходов кружилась голова. Вдали, а впрочем, уже совсем рядом, сияли, как настоящие, дома недоступной манящей Зоны. Можно было различить буквы на крупных вывесках. За домами, как прежде, высилась еще более укрупнившаяся, но без подробностей — против света — труба. С некоторых пор она перестала распространять вокруг белесую пленку; может, потому в ее виде было теперь что-то ненастоящее... я не сразу понял это чувство. Небо светилось чистотой и голубизной — под цвет новеньких штанов и куртки на мне (кто-то на работе предложил папе костюмчик совсем задешево; в магазине такого не купишь)... но тут наконец мне удалось попасть на лестницу, которая позволила спуститься и даже выйти из никак не кончающейся постройки — на землю, на утопанную и подсыхшую в строительной глине тропку, а там уже дальше по ней, как по вынужденной колее, без возможности свернуть.

Справа шла глухая бетонная ограда с тремя рядами колючей проволоки на ржавых, отогнутых наружу кронштейнах; слева залитая водой траншея — как ров старинного крепостного сооружения, но вместо башни над стеной — не-

что вроде сторожевой вышки на столбах, только без сторожа. Дальше тропка вела в тесное пространство между двух глухих стен. Ноздреватые поры бетона вплотную к лицу, затверделые пузырьки, мелочь камешков и песчинок. От прикосновения они осыпались; при некотором терпении можно было протереть в стене сквозную дыру — если только хватит сил и воздуха. Ощущение тесноты угнетало дыхание. Неровная серая плоскость местами казалась выдавлена изнутри: можно было угадать укрупненные очертания лиц, которые с нечеловеческим усилием пытались пробиться с той стороны к воздуху, когда бетон был еще влажен и податлив. Выпуклости носа, лба, скул, подбородка, надбровий, под ними место для глаз, лишенных возможности видеть, впадины судорожно, по-рыбьи раскрытых ртов — еще немного, и сам начнешь задыхаться вместе с ними в недостаточном воздухе между глухих стен, уже отчаявшись протиснуться сквозь тесноту — когда вдруг справа на уровне колен в стене оказывается пролом... Через него надо было проползать на четвереньках... безо всякой отчетливой цели — просто ради возможности вздохнуть наконец по-настоящему, полной грудью...

Нет, еще, конечно, из любопытства.

Воздух вновь обретал свойства подвижного ветра. Гигантская труба объявилась вдруг совсем рядом, прямо перед глазами. Она была, оказывается, красного цвета и внизу, у подножья, шириной с дом. Во все возвращался объем и цвет. Верхушки зданий, казавшихся издалека миражами, потяжелели, но все так же сияли на солнце, скрытом от низкого взгляда. Что мне здесь было нужно — на территории, запретной для посторонних? Надо было так или иначе возвращаться, попробовать углубиться опять в развороченный, недостроенный квартал, в лабиринт повторяющихся бетонных снов, где, как и в прошлый раз, как всегда, прятался единственно мне нужный, недостижимый дом. Но раз уж сюда занесло, хотелось еще немного подышать этим словно бы обновленным воздухом, или вот даже сделать шаг-другой вглубь манящего, именно своей запретностью затягивающего в себя пространства. Увлеченный гулом невольного приключения, я слишком поздно заметил, как из-за угла ближнего здания показался человек в синем, точь-точь как у меня, костюме.

Он шел, держа в левой руке вертикальную палку с примотанным к ней букетиком бумажных гвоздик, какие носят на праздничных демонстрациях — а правой еще издалека тянул ко мне бумажку, всем своим розовым, неестественно гладким лицом и даже фигурой выражая бессловесный вопрос. Бумажка оказалась пригласительным билетом, я уставился в нарядный шрифт, но не мог вникнуть в смысл слов. Клуб «Новый человек», значилось на глянцевого плотном листке. Дискуссия о сохранении смысла. По окончании пляски. Хотя ведь понимания от меня и не требовалось, меня, наверно, всего лишь спрашивали дорогу. На листке не значилось ни названия улицы, ни номера дома. Да если бы и значилось — чем я мог помочь? сам нездешний... я не мог даже ответить не-

тому, беспомощному человеку, а он смотрел на меня с доверчивым ожиданием, и стыдно казалось это ожидание обмануть... С облегчением увидел я выкатывающуюся из-за угла коляску. Ребенок, сидя в ней, подталкивал в воздух пальцем бессильный, хотя и раздутый шар, заставляя его симулировать полет — сам непомерно большой, как будто раздутый, выпирающий из своего экипажа. За ним вслед появился мужчина, толкавший коляску, рядом его жена. Все трое были в одежде того же цвета — цвета здешнего неба... и что-то объединяло их еще, я как-то не сразу сообразил, не сразу вспомнил — только дал знак глухонемому подождать, сам заспешил к супругам с бумажкой в протянутой руке, заранее, на ходу готовясь преодолеть обычное начальное заикание...

Хорошо, что я этого не успел: в следующий миг до меня, наконец, дошло, что голос здесь как раз ни к чему. Взглянув на листок, супруги заулыбались, беззвучное движение губ и быстрых пальцев изобразило ответ. На мое счастье, оба не заметили моей беспомощности: первый глухонемой уже спешил навстречу собратям по языку. Оживленно беседуя, они все вместе двинулись в свой клуб — охранять неизвестный, недоступный мне смысл... Зачем я потянулся за ними, в глубь запретной для меня территории? — словно еще надеялся что-то спросить у этих людей или, может, подслушать, подсмотреть — словно мое заикание начальным краешком могло приобщить меня к их полноценной немоте...

Высокие, без окон, цоколи домов вдоль тротуаров расписаны были цветными картинками: зеленые деревья в натуральный рост, праздничные люди с шарами и цветами в руках, дети с горнами у губ, с флажками и знаменами, с моделями самолетов и спутников, шагающие пешком или восседающие в своих экипажах. Некоторые фигуры казались незаконченными, намеченными лишь условно, мазками, но они дополняли и множили общую толпу: все больше людей присоединялось к нам, выходя из домов, из боковых переулков, густели цветы, шары и флаги неведомого мне тревожного торжества, неслышный возбужденный говор заполнял воздух... — а я жадно, с чувством близящейся, как обморок, догадки, вглядывался в движения их губ и пальцев, более оживленные, чем обычная речь, и подчинявшиеся теперь какому-то общему ритму.

Чужие ветры
Проникли в щели
Здоровье духа
Уходит в дыры
Чужие мысли
Смущают воздух
Опасной дрожью
Так защитим же
Свои святыни
Свои надежды
И обещанья

Устои духа
И превосходство
Немого смысла
На всех не хватит
На всех не хватит

Наверно, первый удар обрушился на меня сзади. Меня еще никогда, оказывается, не били по голове, даже в детстве. Сильней испуга и боли было любопытство, с каким я прислушивался к новому для себя ощущению, когда вещество мозга твердо и мучительно стучается изнутри о кости черепа, о подбородок: вспыхивают под гром литавр очертания голых ветвей в электрическом белом разряде, расползаются трещины по стенам, вместе с ясным и отчетливым пониманием, но тут же все возвращается во тьму перед вспышкой следующего удара, и каждое понимание кажется последним. Тело обмякает, утерев внутреннюю опору, дома, накренившись, скользят в провал, перекатываются обломки слов и обломки предметов, их не успеваешь узнать. Черные рты искажены гримасой ненависти или страха, лица оплавлены, и невозможно крикнуть, потому что рот полон воды.

В теплой жиже, сжавшись в комок, удивляясь своей способности плавать без усилий и заботы о дыхании. Шум накатившей волны слабеет и уходит в песок. Нестерпимый свет начинает резать глаза сквозь острую щелку. Приближается, разбухая, зрачок. Не хватает дыхания. Шумная музыка бьется на песке, изгибаясь всем телом. Протискиваешься сквозь черноту, добираясь ртом до воздуха, и, разлепив глаза снова, видишь еще зрачок.

Я возникал на скрещении взглядов, как фантом на скрещении лучей — скользкий, голый, красный, словно ошпаренный. Понимание оставалось где-то там, в горячем мраке. Болела кожа, растравленная шевелением жесткого воздуха. Хотелось замереть опять, вернуться в теплую темень, поджать к подбородку ноги, слушать всем телом звук окружающего сердца. Кровь шумела, как песок, вбирающий влагу.

- Оклемался, — сказал голос.
- Уже смотрит.
- Ничего, зубы целы.
- На, подложи под затылок.
- Что, сволочи, делают!
- Хорошо, что не утоп.
- В канаве-то!
- А что!
- Легко отделался.
- Могли и пришибить.
- Эти-то? Ну!

— Им лучше не попадайся.

Прозрачные микроскопические существа тихо дрейфуют по поверхности глазного яблока, заглядывают на дно зрачка, в глубину мозга или другого мира, без возможности знать что-нибудь об этом мире и о собственном существовании.

- А чего ж они своего?
- Да где ж он их?
- Комбинезончик-то форменный.
- Подумаешь! Их сейчас на любой толкучке полно.
- Сами и спекулируют.
- А на нем отыгрались.
- Почуяли.
- Пустой бутылки им жалко, не то что другого.
- Особая порода.
- Откуда только понабирали?
- Понавезли.
- Здесь вывели.
- Понабирали.
- Выкормили.
- Аж лоснятся.
- На чистом продукте.
- Как новенькие, без морщинки.
- Устроились.
- Никого, кроме себя, не слышат.
- И умирать не надо.
- Только помалкивай.
- Только чужих не подпускай.

Воспаленные кровяные прожилки. Глаз, поднятый в синеву на воздушном шаре. Шар оплетен просторной сеткой, снизу она заполнена пустыми бутылками, зелеными, белыми и коричневыми; поверх бутылок школьный горн. Изуродованные ожогом губы. Рот без передних зубов. Голова вместо волос обросла шапкой солдатского меха. Телогрейка увешана значками и медалями. Лица, выпроставшиеся из бетонной стены.

- А ты бы подпустил?
- Я и не говорю.
- Уже и черножопые сюда лезут.
- И косолазые.
- Я бы их убивал на месте.
- Всем хоцца.
- Обещали всем.

- На всех не хватит.
- Да может, у них самих нет.
- Чего б они тогда стерегли.
- То-то и оно.
- Специально разговоры пускают.
- Чтобы таких, как мы, отваживать.
- А дураки верят.
- У кого нет, а у кого и есть.
- Это уж как всегда.
- И то как сказать.
- У кого было, у того и есть.
- У того и будет.
- И то неизвестно.
- Вот уж это наверняка.
- Думаешь, там лучше?
- Там всегда лучше.
- Ты бы языком не трепал.
- Да здесь все свои.
- А этот вон все молчит.
- Как будто чего знает.
- Не, он не отсюда. Я его вроде видел. Вроде тронутый малость.
- В каком смысле?
- Вроде писатель.
- Писатель теперь знаешь где?
- Может, выпустили.
- Оттуда не выпускают.
- Может, другой.
- Что значит другой?
- Ну, чего ты молчишь? Скажи.

Всплывают, дергаются в воздухе, как мелкие радужные пузыри, тихо лопаются. Шум крови. Светится волосатое ухо. Смотрят на меня серьезно и выжидательно. Что они говорят? Чего хотят от меня? Только что опять было чувство, будто готов вспомнить важное — когда меня били по голове и шары непонятного праздника срывались в небо... забыл. Опять забыл. Нет, кажется вспомнил: сегодня у меня день рождения... как же я мог забыть? Я снова родился... рождаюсь... родители меня уже ждут... Небо холодное и безумное. Птица со скрипом поднимает и опускает крылья. Воздух струится вокруг тела с шумом песка. Тише! Неужели не слышите? Нет тишины, не стало. Скрип, скрежет, лязг сбившихся шестерен. Визгливый песок подсыпан в колеса. Множество часов, как множество сердец, стрекочут наперебой. Глаза, распахнутые в воздух, вбирают в себя мир, чтобы заново родить его внутри сознания.

13. Под проводами

Прозрачное марево; разогретый трепетный воздух обретает свойства укрупняющей оптики. Отчетливый мелкий крап на шелушащейся коже береды сливается в выпуклую, как рубец, черноту. Из надреза проступает капля, стекает вниз, попутно вбирая в себя отмершие пылинки.

Что-то призрачное и тревожное всегда виделось мне в голом березняке, в сплошной белизне стволов: мертвенность потусторонних теней. В легком, как дыхание, трепете они колеблются, лишаясь плоти и тяжести. А кора под ладонью нежна, точно кожа, чуть прохладней руки, и под ней живет дышащее, пронизанное соками тело.

Страна трепетных тел, соединенных через корни и капилляры земли.

Воткнул соломинку в одно из них, под кожу, и тянешь внутрь себя сок. Высоко над головой в напряженном, лазурном воздухе гибко раскачивается, сияя, верхушка громадного стебля. Прохладная капля стекает на корень языка и под язык, сливаясь со слюной, становясь твоим соком. Я вижу себя, сосущего сок из живого тела березы, подсоединенного к нему через трубочку прошлогодней травы; тот же сок течет во всех стволах, во множестве древесных тел кругом, подземная, свежая, еще не отравленная прохлада; единой совокупностью сосудов мы связаны через корни и землю — где-то по ту сторону леса, невидимая мне, сосущему, прикинула к одному из стволов женщина, прикрыв глаза, орошая соком горькие губы.

Мы были связаны с ней, я ощущал это, не понимая, не видя; связаны не просто чувством, памятью или мыслью. Общий сок поднимался к нам из почвы, перемешавшей в себе отмершие частицы, натекал нам под языки, сладкий, словно слюна поцелуя, единственного, прощального, дящегося. Томительное упрямое чувство твердело в теле, как будто она могла быть где-то вот здесь, как будто она еще могла не уехать и, может, ждала меня, отделенная всего лишь нешироким, но непрозрачным пространством, я только опять не знал, как до нее добраться, в какой стороне искать.

Где я был? Где-то за городом, в неизвестной стороне от него. Меня, можно сказать, выпихнули сюда, на эту природу, пользуясь небывало бурным теплом и подвернувшейся возможностью, не спрашивая согласия, едва ли не в панике, усадив в микроавтобус без окон, с надписью «Водоремонт», поставив у ног сумку с необходимыми вещичками и запасом продуктов, лишь бы удалить из дома, словно мое тело притягивало угрозу, как наэлектризованный предмет молнии — угрозу, которую мои родители понимали немногим больше моего, но

это непонятное наслаивалось на их собственные, недостоверно известные мне тревоги. Им и так было не до меня, а после того, как меня избили в Зоне глухонемые и моя новенькая, купленная по дешевке форменная одежда оказалась испорчена кровью и грязью канавы, лучше было на всякий случай выпихнуть меня на ходу из опасного сна, чтоб я переждал время в другом, по соседству.

Гудят провода высоковольтных передач, уплотняя воздух вокруг напряжением неподвижной музыки. Под ними нагромождены самовольно возделанные участки: ограды из обрезков жести, из прутьев, кой-где оживших и пустивших ростки, из проволоки, из кроватных панцирных сеток и старых стиральных досок. Из такого же подручного материала воздвигнуты были сарайчики, называемые летними дачками. Если не слишком оглядываться, вполне можно было ощутить себя среди природы. Пахнет дымом прошлогодней листвы, подсыхающим болотцем, ржавой водой канав. Набухают почки, воробьиный звон мешается с высоковольтным гулом. Мусорный материал построек и непривлекательная растительность, переплетаясь друг с другом, как прутья и железки в ограде, совместно готовятся зазеленеть. Прибудь я сюда чуть позже, я бы уже и не заметил, что зелень пронизана внутри шипами колючей проволоки. Зачем мне было это знать?.. она здесь присутствовала повсюду, украшая, как бахрома, даже кровлю жилого сарайчика, где был поселен я.

Я наблюдал, как хозяин дачки Виктор Павлиныч, нанятый мне в опекуны или стражники, привязывает к колышку саженец вишни. Полувоенные штаны, лицо составлено из твердых бугров, узлов и шишек: возле рта, под глазами, на челюстях; вся правая щека окрашена сизым пятном. Добродушный пенсионер, любитель природы, покровитель и кормилец приبلудных, брошенных хозяевами собак, староста здешнего поселка, где существовала своя организация, велись в школьных тетрадях списки, устанавливалась очередность дежурств и собирались взносы. Воздух жужжал вокруг проводов, я ощущал их напряженность как тревогу внутри собственного тела и собственной головы — в ней словно что-то сместилось после жестоких ударов, оставивших в памяти не боль, а страх перед тем, что открылось на миг, вспыхнув, прежде чем раствориться снова во мраке. Но мог ли я в самом деле видеть, как мертвеет древесное вещество в пальцах Павлиныча и сок засыхает в сосудах неживыми кристаллами? — ни одно деревце еще не прижилось до сих пор на его участке. Что все время примешивалось к моим мыслям и отравляло спокойствие? Я как будто сам не хотел прояснить эту тревогу и этот страх.

Гул, жужжание и звон вместо слов, напряженность без разрешения, прозрачное марево. Я не мог или не хотел вспомнить, почему беспокоит меня сизое пятно на щеке добродушного стражника, собачьего покровителя, а может быть божества. Преданная стая сопровождала его, когда он уходил в лес, в какое-то свое капище, совершать среди коряг и пней неизвестный мне ритуал. Но ни на минуту я не чувствовал себя безнадзорным. Стоило мне отдалиться от поселка в

любую сторону, просто так, без особого намерения, как на пути неизвестно откуда возникла одна из собак — и ей даже не нужно было тратиться на лай: я сам знал, что надо вернуться. А громадная черная Ведьма, хозяйская любимица, не отказывала себе в удовольствии порычать на меня вообще без всякого повода, ради воспитательной профилактики — чтобы не забывал о страхе.

Единственный, кого удавалось не бояться, был маленький остроухий Рыжик. Он как-то приковылял ко мне с перебитой передней лапой, и я ухитрился наложить на нее шину из дощечки. Было боязно, как бы Рыжик не тяпнул меня, когда станет больно, но он лишь иногда мягко покусывал от страдания мою руку; крупная слеза скатилась из левого глаза, напрягся и потемнел островок шерсти на загривке. Чем-то он казался мне близок: пугливый, последний в стае, вынужденный следовать за другими. «Ты чего не развиваешься? — говорила ему семилетняя Ася, внучка Павлиныча, и не гладила, а как-то пробовала пальцами его шерсть, другой рукой прижимая к себе игрушечного черного песика. — Ешь больше, а то ведь ничего из тебя не получится»... Мне казалось, я понимаю, почему Рыжик приседает и скулит от прикосновения этой девочки с треугольным вырезом верхней губки, — но я не хотел прояснять и этого чувства.

В высоковольтном распаренном воздухе напряглась и не сдвигается музыка, застряла на единственной ноте. Трепещут, теряя вес, очертания предметов. Слабо, но душно пахнет одуванчиками, и за полосой желтых, только что вылупившихся, белеет полоска уже седых — там ускоряло жизнь добавочное тепло подземной трубы. В разных частях пейзажа совмещались разные времена: где-то еще сквозил голый березняк, из надреза докапывал сок, в другой стороне деревья уже оведала, как пар дыхания, прозрачная зеленоватая дымка, поодаль лес умирал, валялись упавшие стволы с плоским слоем почвы на вывороченных корнях.

Я, как всегда, путался в днях и не пробовал в них разобраться. Я не мог бы сказать, сколько пробыл здесь — когда просыпался в темноте или засветло на жестком, укрытом ветошью топчане, чтобы прервать и переиначить сон, где указывал дорогу в свой дом исполнителям приговора, про который еще ничего не знал (я даже не знал, что они называются исполнители): ничего, кроме чувства, что везу в дом беду, потому что нарушил запрет — и не могу не нарушить. Цокают копыта, колеса телеги вправлены в затверделую колею, и невозможно свернуть, только прекратить дальнейшее, замереть, оказаться опять на топчане, под пыльной чужой ветошью, в затхлом сарайчике с колючей проволокой по крыше, в отсутствующем на картах поселке, среди перерождающейся или подмененной природы, среди колышущихся испарений, делавших призрачными фигуры людей, которые что-то убирали, копали, жгли прошлогодний мусор...

(Словно пока ты оставался здесь, неизвестно в какой стороне от города, от движущейся жизни, дальнейшее по меньшей мере задержится, приостановится, а там, глядишь, и вовсе обойдется).

Высоковольтный гул, дремотное бормотание, предрассветные сумеречные голоса. «Предупреждали ведь». — «Попробуй пойми». — «Чтобы не нарушать». — «Второго раза не дадут». — «Было же сказано». — «Пустые слова». — «Это уж точно». — «Чтобы не жить». — «Не понимаю». — «Как будто от кого зависит». — «Никто никого не держит». — «Все отговорки». — «А там что?» — «Как будто обязательно знать». — «В каком смысле?» — «Шагнуть в любую сторону — всех-то делов».

В самом деле, так просто: встать и пойти.

Мягко вминается под подошвой подстилка прошлогодней листвы. Разбегаются, вжимаются в укрытия почвы невидимые мелкие существа. Можно ли вообще идти, если держать в уме, что каждый твой шаг для кого-то губителен? А не идти нельзя — где-то там, впереди, от упавшей березы сейчас повернется к тебе лицо женщины, которая однажды обозналась, увидела в тебе кого-то, кем ты бы мог оказаться, мог стать, если бы хватило духу... если б не страх. Перед чем? Мохнатая черная собака преграждает снова путь. Оскал клыков из бородастой пасти, память о дочеловеческом, зверином трепете. Скорей найти камень, чтобы в нее швырнуть — он подворачивается под руку сам собой, тяжелый, увесистый, чем тяжелей, тем лучше, надо убить эту тварь, не просто освободить себе путь, но рассчитаться разом за унижение, за тот же страх, за невозможность все время куда-то пробиться... о, за многое... Удачный, как во сне, удар, сладость торжества! Мягкая туша валится на бок, откуда-то из травы слышится долгий скулящий визг, и ты узнаешь его. Это не Ведьма, так скулит Рыжик, жалобно и тоскливо, я продолжаю слышать этот скулеж, вскочив со своего топчана, он проникает внутрь сарайчика сквозь щели вместе с дрожащими струнами пыльного света... Значит, все-таки в самом деле надо встать и пойти на этот звук или на воспоминание о нем — не сквозь поселок, а краем его и дальше в лес, по мягкой тропе.

Высоковольтный гул, ноющее чувство в сердце — я не знал, куда оно меня ведет, пока не увидел среди поляны сарай, грубо сколоченный из серых досок. Стоя ко мне спиной, Павлиныч укреплял на распялках под навесом свежую, еще влажную шкуру, отскобленную от крови и связок, когда-то соединявших ее с телом.

— Собаками они, вишь, брезгают, — рассуждал он добродушно и насмешливо то ли сам с собой, то ли с внучкой, которая наблюдала за его работой. — Чтобы в ихнем пруду не купались. Да собаки почище некоторых людей будут, правда, Асенька? Что из того, что ты человек? Ты докажи, какая от тебя польза...

Девочка с искусственным песиком на руках смотрела серьезно. Губка с треугольным острым вырезом под носом казалась вообще не способной к улыбке. Оба не заметили меня, я замер за стволом близкого дерева. Живодер вытер руки о ветошь, засунул в клеенчатую кошелку большой прозрачный пакет, наполненный чем-то кровавым, и заковылял с внучкой прочь, не оглянувшись в мою сторону.

Ноги неожиданно ослабели и перестали держать. Я сел, опустившись боком вдоль дерева. Где были остальные собаки? Надо было подойти удостовериться, какого цвета шкура, с моей стороны была видна лишь ее сырая внутренность, но я не мог встать. Знакомый скулеж совсем рядом заставил болезненно вздрогнуть. Позади меня в нескольких шагах сидел Рыжик. Влажные глаза смотрели тоскливо и выжидательно, язык высунут. Не поднимаясь с корточек, лишь переменяв положение, я придвинулся к сараю. Да, шкура на распялках была черная... ну конечно же, лучшего качества, пригодная на воротник любимой внучке...

Разрядка постыдного, удовлетворенного облегчения.

Темный обломок стекла прислонен был к стене сарая. Под слоем пыли угадывались непроявленные черты. Провести по ним, отереть ладонью. Руку пронзило точно ледяным электричеством. Из открывшейся черноты смотрело на меня лицо: затененные начинающейся бородкой щеки, углубленные в темноту глаза. Вроде я таким его уже и видел, таким он и должен быть... но что-то все равно незнакомое, неожиданное. Даже не знаешь, как обратиться, на вы или на ты? Дурацкая мысль. И странная расслабленность. Желание прижаться лбом, вжаться. Чтоб стало не так непонятно и страшно.

Смотрит, глаза затенены пониманием и печалью, губы закрыты пылью, и невозможно прикоснуться снова, чтобы их отереть, и не обязательно отирать — он не скажет больше, чем способен сказать ты сам. Может, и не обязательно понимать? Вот Рыжик. Он чувствует лишь что-то близкое, наверняка даже недоступное мне, но не способен примерить к себе того, что уже произошло с другими, понять связь между кормящей рукой божества и неизбежностью жертвоприношения. Проще жить дальше, раз повезло оказаться убогим, никому не нужным, со скудным, ни на что не пригодным мехом... чего же он смотрит на меня в тоске и смятении, и что я могу ему объяснить? Много ли толку, если я знаю, что ждет его и меня, а он нет; к чему-то другому мне все равно никак не прорваться, даже не приблизиться. Разве что на миг — миг потрясения, пугающей вспышки...

Сухоньякая скорлупка почки чудом держится на кончиках сразу трех лепестков, как наперсток на щепотке троеперстия; еще немного, и высвободится...

Нет, просто надо было двинуться дальше.

Рыжик ковылял впереди на трех лапах, как проводник. Как будто знал, куда нам обоим нужно; как будто нам было по пути и он лишь меня дожидался. Время от времени он останавливался, чтобы обнюхать след, и я угадывал вместе с ним недоступное мне прежде богатство запахов и понимал эту потребность оставлять попутные метки, сладкие, острые, свои — ту потребность, которая искажается человеком, когда он пишет на чужих памятниках свое имя в надежде хоть как-то приобщиться к бессмертию. Вот он насторожился; перевязанная лапа замерла в воздухе. Островок шерсти на загривке напрягся и потемнел. Сделал шаг, другой, остановился, оглянулся на меня. Кого он почуял в кустах? Какому должен был следовать зову, скрытому от человеческих ноздрей? Еще раз посмотрел на меня, коротко, виновато, как бы прося о понимании, а потом нырнул, исчез в зарослях, для меня непроходимых — мне надо было идти в обход.

Податливость прошлогодней листвы под ногой. Сдвинулась, ожила, полилась дальше музыка, освободившись от напряжения проводов: у нее теперь было направление — будто и я в самом деле, не думая, снова знал, куда и что меня тянет. Я следовал этой тяге, движению мелодии на конце смычка. Миллионные доли вероятности могут сойтись опять, если сойдутся желания — как будто силы чувства достаточно, чтобы выстроить случайные частицы, точно пылинки в магнитном поле. И неважно, как это произойдет — все равно будет внезапно... Остановился взглянуть на бабочку, она распростерла крылья на черно-белой коре. Крапчатый узор подробен, в него можно всматриваться, приближая к себе и укрупняя. Смотришь на нее, еще не видя... и не обязательно даже переводить взгляд...

Сквозь черный глазок: крап березовой опушки, белизна молодых стволов, плоский пласт еще не подсохшей земли на вывороченных, взметнувшихся в небо корнях... и еще ближе, еще крупней... От упавшего дерева поворачивается мне навстречу лицо.

14. Березовый сок

Смотрит на меня — и не вздрогнула, не удивилась. А если и удивилась, то не встрече этой, ничуть не более невероятной, чем прошлые — ведь с этой женщиной невероятное осуществлялось скорей возможного — а чему-то незнакомому во мне. Или как раз знакомому. Долгая задумчивость была в этом взгляде.

— У тебя щетина, — сказала, словно отвечая на произнесенный вопрос. Словно мы продолжали прерванный разговор, и за время нашего молчания

что-то произошло, о чем мы оба знали помимо слов. — И с рыжиной. Откуда? На голове нету. Может, ты в душе всегда был рыжий?.. Значит, так все-таки бывает...

Пласт земли на корнях упавшей березы был совсем свежий, еще сырой, он казался несоразмерно тонким, этот плоский слой, из которого взметнулся такой громадный ствол, вся эта могучая масса древесных стеблей. Уязвимая, в считанные сантиметры, пленочка на земной поверхности, на толще неживого песка, несоизмеримая с громадой лесного вещества, которое было ею порождено и напитано.

— Видишь этот надрез? — показала она. — Еще не засох. Когда это было? Вчера?.. позавчера?.. время стало путаться. Я ходила на станцию за билетами... это вон тут, рядом, — неопределенным движением руки показала за спину. — И зачем-то свернула в лес. Никогда прежде не ходила. Вдруг вспомнила, как в детстве пила березовый сок. Редкое запретное счастье: когда удавалось убежать от всех, уединиться, раздобыть нож — если бы это раскрылось, пришлось бы расплачиваться. Ножи нам не разрешались. Подумала, что как раз сейчас он должен течь, захотелось опять попробовать. У меня был с собой перочинный нож, дорожный. Сделала надрез, вставила соломинку... Не могу объяснить это чувство: запретной сладости, страха, что причиняешь боль, ранишь ножом живое существо — и все-таки, все-таки... И вот сейчас, до отхода поезда осталось время, я сдала вещи в багаж... захотелось найти это место, эту березу... Вот... Но ведь не может быть, чтобы это из-за меня, из-за крохотного надреза. Его и не видно почти. Может, это не та?.. Но надрез мой. Ведь так не бывает? Или как раз бывает. Мы ничего не знаем. И ничего не исправишь, не возвратишь. Что ты молчишь?

Миллионные доли случайности сходятся ради встречи, которой желал — и потому что желал, как будто сам предвосхитил, вообразил или вымечтал, заранее зная, что все эти случайности все равно ничего не значат, потому что через отмеренный промежуток времени, после считанных ударов сердца вы должны разойтись снова, теперь уже действительно насовсем: поезд уже приближается к станции, где-то там, за лесом, неотвратимо постукивают колеса, время сдвинулось, ожило вместе с музыкой. Бессильные, ничего не способные изменить слова застревают в гортани. Загустелый посмертный сок еще течет из потемневшего надреза, капает на прошлогоднюю, сохранившую зеленый цвет травинку, на бурый омертвелый лист, уходит дальше, обратно в землю.

— А ведь я думала, что увижу тебя. Должна увидеть, сама не знаю как, но должна, можешь ты такое представить? — Усмехнулась, прикрыв глаза. — И сюда шла с этой мыслью. И когда тянула сок из соломинки. Просто видела тебя, вот так, как сейчас. Теперь уже можно сказать. Потому что через час с небольшим меня уже здесь не будет. Лучше убежать, пока ничего не случилось. А что случилось, того уже, видно, не отменить. До последнего дня, до этой вот самой минуты я еще на что-то надеялась. К фотографии так и не прикоснулась.

И даже во сне увидеть его не смогла ни разу. Вижу кого-то, кто должен означать его, но знаю, что это не он...

Как будто есть в этой тени что-то, способное окончательно превратить в тень изображенного на ней, оставить где-то там, где нет ни смерти, ни жизни, лишь ожидание без надежды... нет, ужасней всего, что надежда не отпускает. Или это называется любовь? — невозможность освободиться и попытка освобождения. Почему запрещено оглянуться, если хочешь... нет, не вернуть — удержать?... хотя бы взглядом, хотя бы на единственный миг. Не запечатлеть навсегда, не приобщить к вечности, к миру изображений, одеревенелостей, окаменелостей... но хотя бы еще на миг, на самый последний миг (потому именно и последний)... увидеть крапинки серо-зеленой радужины, и волосок брови, и белую корочку на губах, ощутить тепло родных губ, тепло дыхания, тепло кожи, сладость сока на языке и под языком — сока, соединившего нас в березовом перелеске через сосуды, корни и землю.

Музыка разливается половодьем, деревья погружаются в нее до верхушек. Распустившиеся волосы пахнут клейкими почками, стебли сошлись в вышине над нашими головами, кружится свет, расщепленный на лучи тоненькими ветвями, поворачивается, запрокидываясь, земля со всем, что на ней, и больше не нужно слов, пальцы, умные, нежные, которые лишь кажутся тебе твоими, сами делают то, что ты всегда хотел, как будто знал, как это делается, кожа и тело вспоминают то, чего у тебя еще на самом деле не было, потому что вспомнить — значит прожить, все бывает заново и впервые, единственный и невозвратимый раз, и встреча дается, как чудо, в неповторимый миг, равный проникновению.

Дышит и вздрагивает земля, источает сок черными порами, вобравшими перегнутой бесчисленных жизней, с которыми мы связаны, не подозревая о них, сосут сладость сосуды и корни, шевелятся травы, трогаясь в рост, бормочут существа, населяющие скрытно от нашего взгляда мир сухих и снова зеленеющих трав, нежно сияющие холмы плавают в музыке, мы связаны с этой землей и этой музыкой, соединены через них, и все на свете соединено через нас...

Прель отжившей листвы и обещание новой, мелодия скрипки и мелодия смычка. Трепет воздуха одухотворяет предметы. Серый валун напрягся и замер, как готовая вот-вот очнуться мысль; бесформенная вечность стучится зародышем смертной жизни внутри сбывающегося сна, в который ты не можешь до конца поверить, даже когда он совершается наяву — и даже вот уже веришь, но каждое мгновение осознаешь, что сейчас он все равно рассеется, кончится неумолимо, ибо все на свете должно кончиться, каждое мгновение на огромном шаре земли отлетает от чьего-то тела облачком последний вздох или последний хрип, как стон последнего содрогания, и каждое мгновение из материнского тела выпрастывается чья-то новая отдельная жизнь, чтобы с криком вобрать

самостоятельный воздух, но для тебя ничто больше невозможно, только продлить еще, еще хотя бы на миг... когда все становится одним общим сердечным биением, а потом уже памятью и виной. Еще на миг... подожди... и невозможно, и не хочется умирать, но без этого не бывает. Все должно кончиться, как кончается жизнь, чьи-то слепые тела лишь временные инструменты замысла, который ищет продолжения через них и после них, драгоценный сосуд уже наполнен залогом неизвестных существований, чтобы они распространились по поверхности земли. Сок сладких видений еще течет, застывая, густея, на мертвеющую кору и уже отмершую листву. Нежность свернулась улиткой под клейким листом. Красный жучок переползает с прошлогодней жухлой травинки на свежую.

На щеку упала капля начинающегося дождя. Я вижу ее улыбку — неясную улыбку женщины, которой не нужно заботиться о вечности, потому что она и так ей принадлежит. Вот и все, говорила эта улыбка. Я свое взяла. Я знаю, что взяла, теперь я точно знаю, без всяких доказательств. Не от него, так от тебя, но тебе до этого не должно быть дела. Что еще надо?.. А еще я знаю, что теперь его действительно больше нет... окончательно. Что ж, возьму на себя и это. Так было надо. Это и есть жизнь. Что-то должно кончиться, что-то должно начаться. Без этого не бывает.

15. За что?

Незачем теперь и шевелиться. Все уже произошло, можешь лишь думать, будто ты этого не знаешь, ты просто пока не готов чего-то вместить. Пока еще есть время — промежуточное время дороги. Не обязательно даже двигать ногами — тебя перемещают дальше, не требуя собственных усилий. Отголосок еще звучащей музыки все больше перекрывается мелким шумом дождя, дробным перестуком копыт, разрастающимся сознанием утраты. Чувство вины и предчувствие беды лишь кажутся безотчетными. Попутная телега везет тебя в город со станции, где ты окончательно и как бы рассеянно, второпях, распрощался — не с женщиной — с возможностью другой жизни, но заодно и с частицей прежнего существования. Не убежать и не вернуться, разве что попытаться не думать — или не сочинять дальнейшего... но разве это в твоей власти?.. Что-то, запавшее, как зернышко, само собой набухает — в уме или в окружающем воздухе.

Две фигуры впереди укрыты с головой мешками; на одном черные буквы Sugar Cuba, на другом простая прореха. Такой же мешок был предложен мне. Он то и дело сползал с головы, руки уставали придерживать. Пахнет кислой сыростью, пылью прошлогодней картошки. Между спинами возниц виден лоша-

диный круп, изъязвленный мухами, хвост с невычесанными репьями. Порой ноздрей касается сладкий запах пота и парного навоза — когда, задрав хвост, лошадь выбрасывает под колеса свежие яблоки. Редкое для городского человека удовольствие, удивление перед чудом, какое испытывали когда-то, наверное, при виде неживых самоходных машин, таких, в сущности, простеньких созданий собственного ума — их можно разобрать по винтику и собрать снова без остатка тайны.

(Мысли не о том — чтобы вытеснить, не допустить других. Цоканье копыт, шум дождя, глаза открыты, а может, и нет).

Откуда-то со стороны и сверху: это твое тело под мешком перемещается вместе с телегой из неопределенных окрестностей в сторону дома; ты уже почти готов узнавать места. Проселок сменяется щебенкой, затем булыжником, выбоинами в асфальте, а тело ощущает, как твердо и разнообразно откликаются колеса на все подробности дороги, сбивая в голове мысли и чувства. Пустынные улицы, начинающаяся городская зелень, три понурых мешка на телеге, продолжение дороги пока что скрыто за поворотом, но ты как будто видишь даже, что ждет вас там, куда везут тебя так удачно подвернувшиеся попутчики (только сказать им адрес), словно сам составляешь дальше из совпадений и подручных подробностей не от тебя зависящий сюжет. При всем желании не остановить уже болезненной сутолоки внутри головы, не выпрыгнуть из телеги, как не могут колеса вырваться из глубоко вдавленной однажды в грунт и затверделой, точно камень, колеи.

Задремал, или, наоборот, проснулся.

Дрожь темной подкожной жилки на лошадином крупе, толкотня мыслей, как шум крови в ушах, дробь кислого дождя по мешку, скрип колес, цок копыт, невнятные голоса из-под мешков — из пространства:

— И представляешь, спрашивает: за что?

— Ну, люди! Прямо совсем память отшибло.

— Это как если б мне ногу отрезало, а я спрашиваю: за что?

— Тем более его предупреждали.

— Конечно. Прямо сказано было: сиди и не рыпайся.

— Небось знал, что делает.

— Думал, он сам по себе, за себя и ответит.

— За себя проще всего. Ты о других подумай.

— Раньше такие вещи понимали.

— Раньше так и не спрашивали. Хоть среди ночи подыми — заранее были готовы.

— Раньше в такое время уже возвращались... Э, в какое тебе, говоришь, место? — полуобернулся ко мне Sugar Cuba. Жила поворота напряглась на открывшейся шее, выпростался из-под мешка болезненный выпуклый белок. —

Подвезем, — пообещал, не дожидаясь, пока я справлюсь со своим заиканием, и поощрил вожжами кобылу. Она ответила коротким ускорением, заранее притворным, и тут же возобновила прежний ритм.

Собака воеет во дворе, когда в доме умирает хозяин, осыпается цветок на окне, когда из соседней палаты вывозят мальчика, с головой укрытого простыней. Может, наша тоска и тревога сейчас от того, что где-то в лесу, не слышный нам, плачет заблудившийся ребенок. Все уже произошло, мы только не готовы это воспринять; так хочется оставаться еще ни при чем. Долгий глухой забор вдоль дороги обтянут поверху привычной колючкой, ты еще вправе думать, будто не знаешь, каким нечаянным попутчиком указываешь путь к своему дому, ты предпочитаешь пока усмехаться удачному совпадению, не особенно даже удивляясь, ты объясняешь свою тоску и тревогу другим, сочиняешь слова оправдания за нарушенный и в сущности пустяковый запрет, чтобы не догадываться о чем-то всерьез.

— А номер дома какой? — спрашивает возница. — Скажешь, когда сворачивать.

Я не мог этого прежде видеть, но не удивлялся чувству узнавания. Белые пятна прилипли к окнам; открываются двери вокруг лестничных площадок, взгляды масок провожают меня снизу от перил и встречают сверху. Стучит за спиной по ступенькам протез одноногого возницы, его напарник волочит вслед пустые мешки, и не нужно тебе ничего объяснять, ты понимаешь и принимаешь без удивления, что люди, которые подвезли тебя попутно и которым ты указал дорогу к дому — судебные служители, они будут то ли участвовать в обыске, то ли описывать ваше имущество после него, потому что в цифрах, перепечатанных тобой для отца на длинных листах, оказалась ошибка, то есть не оказалось в наличии чего-то, что они должны были обозначать, — такие вещи тебе объяснять никогда не считали нужным, с тобой взрослые дела не обсуждались, ты даже не знаешь, поставил ли папа под этими цифрами свою подпись, — но это уже подробности; они, глядишь, добавятся чужими усилиями, нарастут задним числом — они уже разрастаются сами собой причудливей, чем ты мог бы придумать. Двери квартиры раскрыты на обе створки (так бывает на похоронах или на свадьбе), толпа соседей, недостоверно знакомых и не знакомых вовсе, расступается перед долгожданным и важным участником действия. Пожалуйте, гости дорогие, здравствуйте, а то мы уже заждались, самовар остыл. И смотрят искательно: узнает ли, ответит ли? Достаточно твоего кивка, чтобы встречное лицо расцвело. Девочка с треугольным вырезом верхней губки и неживой собачонкой в руке по местному обычаю протягивает оранжереиную гвоздику и делает книксен...

Уже не развезать, не отогнать. Папа в пижаме сидит на стуле в углу комнаты, время от времени привычно трогает пальцем зуб. Вдруг спохватывается, что на него смотрят посторонние, неизвестно как вторгшиеся в мир полуденных

дурных снов. Он все еще не может понять их присутствия в своем доме, застигнутый врасплох... не успел вовремя очнуться. Сам виноват, теперь терпи. От мешков, брошенных у дверей, поднимается облако пыли. Мама сидит в противоположном углу. Король и королева. Прямые спинки стульев придают обоим вид чинный и значительный, и все держатся с ними предупредительно, как с виновниками и центральными фигурами редкого торжества, готовые избавиться от излишних хлопот: сидите, сидите, не беспокойтесь, мы сами. Так бывают хлопотливы на похоронах знатоки ритуала, всегда лучше знающие, что делать; не хватало еще, чтобы покойник вздумал сам действовать — все равно как если бы ожил; то есть не в том скандал, что ожил, а в том, что хочет распоряжаться за других. Это не по правилам. Не так часто выпадает случай.

И невозможно очнуться. Ты уже понял, что это называется обыск, ты явился на него неожиданный с такими же неожиданными, чужими, непонятными людьми, которым, не подозревая того, указал дорогу от станции, привел, можно сказать, с собой, и вот застыл у дверей, как зритель, как посторонний среди посторонних, если не хуже, а родители даже не встали навстречу, ничто не шевельнулось в их лицах — можно подумать, что они не узнали тебя, обросшего щетиной? — или не хотели признавать ослушника, навлекшего на них беду? а может, не хотели никак припутывать тебя к происходящему, надеялись не выдать твоей семейной причастности?.. Мама взглянула на меня лишь коротко, не изменив застывшего выражения. Ресницы у папы слипались от набухшего ячменя. Тебя же просили оставаться на месте, — слышу я непроизнесенный упрек, — послушался бы — может, ничего бы и не произошло; но раз уж явился — не надо сейчас требовать объяснений, не надо показывать даже взволнованных чувств. Так положено. Если мы все будем вести себя правильно, то есть замрем неподвижно и в безучастном спокойствии, как будто ничего не произошло, все лишнее раз убедятся, что никто из нас ни в чем не виноват, недоразумение как-то развеется, можно будет проснуться уже на самом деле, как ни в чем не бывало. Сам же понимаешь, это скорей всего не совсем взаправду, это не может быть взаправду. Так что не надо дергаться, удивляться, задавать лишних вопросов, даже показывать вид, что тебе неприятно, когда незнакомые люди открывают дверцы платяного шкафа, выдвигают ящики, перебирают белье... Я только вижу, как мама напрягается от этих прикосновений — к вещам, не к себе — точно в кресле зубного врача.

Кто-то входил к нам в квартиру, неизвестно зачем, только потому, что двери стояли открытыми. Вот сосед Христофоров, художник со встрепанной бородой, став у дверной притолоки, водит перед собой по воздуху невидимым карандашом, зарисовывает для памяти портреты, чтобы потом воспроизвести их на упаковочном картоне вонючими самодельными красками. Заглядывают мимоходом, из любопытства, оставляют для присмотра детей; компания молодежи пристраивалась на подоконнике, пробуя гитару, группа любознательных сблизилась головы над семейным альбомом в плюшевом переплете цвета детства.

Генеральша держит в руках литровую банку с извлеченным из нашего буфета вишневым вареньем.

— Это вы, что ли?

— Она.

— Не похоже.

— Нет, узнать можно.

— А это он.

— Молодой, а уже лысый.

— Лысый, а смотри какую отхватил.

— А это вон сынок.

— Ишь, головастик, с глазищами.

— А вот смотри, как вырос.

— Вырос, да что толку.

— А варенье-то у вас, между прочим, засахарилось. Вы на стакан сколько кладете?

— Дайте-ка попробовать.

— Кстати, сегодня сахар завезти обещали. Хотите, за вас постою?

— Конечно, не самой же ходить.

— Тем более в такой день.

— Вы не чинитесь, мы по-соседски, по-свойски.

— Так хоть сойдемся поближе. А то уж слишком вы себя поставили. Как будто другие не люди.

— А это кто, ваша мать?

— Какая мать? В таком платье! Небось, бабушка.

— Ишь, барыня.

— Ну, не все нос задирать.

Папа и мама на стульях с прямыми спинками — король с королевой — не рядом, а в разных углах комнаты, как будто и теперь все еще самым главным для них было не проявить никаких чувств перед чужими, не нарушить непонятного здешнего ритуала, ну разве что помочь — из привычной добросовестности:

— Что вы все-таки ищете? Вы лучше скажите, чем переворачивать все.

(Безнадежная попытка ума совладать с чем-то, что совершается по другим законам).

— Пока не нашли, откуда нам знать.

— Вещественные доказательства.

— Предметы роскоши. Золото, серебро.

— Золота у меня нет, — (голос мамы едва ли не виноватый; честность не позволяет ей остановиться). — А серебро... не знаю... Пара ложечек осталась, семейных.

— Да много нам и не надо. Мы ж не хапуги.

— Мы на службе.

— Мы против вас ничего не имеем.

— У нас служба такая...

(На синем шелку ложка с кромкой, за долгие годы объединенной, облизанной моими губами, когда я пил из нее лекарство; она еще пахнет им. Мама держит открытую коробку, точно портсигар с предложением угощаться. Непослушные обкуренные пальцы с достоинством берут по одной).

— Между прочим, вам адвокат понадобится, писать кассацию, могу порекомендовать, — наклонилась над маминым ухом Генеральша. Она сразу в обоих своих халатах, лиловый поверх зеленого, но в вырезе все равно проглядывают кружева комбинации. — Кандидат наук, а денег берет не больше других. Другие с вас только зря тянуть станут, а тут по-соседски.

— Почему кассацию? — встрепелась мама: она еще пробует сопротивляться. — Еще ведь никакого приговора не было... даже суда.

— Да что вы, в самом деле! Точно с луны свалились. — Актиния на подбородке шевельнула белесыми щупальцами. — Какой вам еще суд?

(Стол уже накрыт зеленым, на столе вазочка с цветами. «С собственного участка. Ради такого случая». Стулья для зрителей принесены от соседей, а те, кто больше, чем зрители, по обычаю занимают скамью, на которой они всегда сидели перед подъездом, встречая и провожая нас взглядами, и теперь смотрят, поджав губы, впрочем, готовые и к снисхождению, переговариваются, обсуждая, может быть, заранее известный приговор...)

— Но мне еще даже не сказали, в чем меня обвиняют, — очнулся, наконец, и папа — или, наоборот, понял, что очнуться не удастся. И тут же почувствовал, что сморозил не то. В воздухе проносится ропот не то что неодобрения — непонимания.

— Он, значит, считает, что не виноват ни в чем.

— Что значит ни в чем? — пробует объясниться папа голосом заранее обреченного человека — не перед ними, перед кем-то неявным. — Я мог ошибиться... но без худого умысла, уверяю вас.

— Это все говорят.

— Кого ни спросишь, все ни при чем. А жрать скоро станет нечего.

— Штукатурка на головы сыпется.

— Бумагу, и то теперь нормально не сдашь.

— Всяким жучкам доплачивай.

— Талонов взять негде.

— А они, видите ли, ни при чем.

— То хоть надежда была.

(Проникает в череп помимо ушей, губы не шевелятся.)

— Я не понимаю. Не понимаю, — папа защищается уже последним усилием. Ресницы слипаются все сильнее, все труднее держать глаза открытыми. — Может, и виноват. Но не в том, о чем вы говорите. И во всяком случае, без всякой корысти.

— Да, уж это мы видим.

— Это уже другой разговор.

— Холодильник пустой, а рояль поставили.

— Варенья сварить не умеют, а перед людьми гордятся.

— Телевизора сыну не купят, а говорят, что живут.

— Да вы хоть знаете, что такое жить по-человечески?

— Вы хоть однажды сидели за настоящим столом?

— Вы ели хоть раз в жизни устриц?

— Или трюфеля?

— Или черепаховый суп?

— Да вы, небось, и за границей ни разу не были?

— Небось, и Парфюмона не видели?

— А вы знаете, как будет суд по-древнегречески?

— Человек, который ни разу не бывал за границей, не может считаться цивилизованным человеком.

— И не ел устриц.

— Человек, который не видел Парфюмон, не может вообще считаться.

— Тем более черепаховый суп.

— Если так вникнуть — разве это была жизнь?

— Считайте, что и не жили.

— Но как же это... — лицо папы страдальчески напряжено.

— Можете, конечно, упорствовать. Ваше право. Но у вас, между прочим, есть еще сын. Подумайте про него. Какую жизнь вы оставляете ему?

— Какую страну?

— Какую квартиру?

Опущенная голова, ресницы слеплены гноем.

— Это я и сам себе говорю.

— Ну вот и слава Богу.

— Хоть не упорствуете.

— Наконец-то.

— Суд учтет ваше чистосердечное раскаяние.

(А я среди всех, как один из свидетелей — обвинения или защиты? Надо вмешаться, надо что-то сказать, но голос застрял безнадежно, постыдно. Мимо уже выносят зрительские скамьи и домашние стулья, двое служителей описывают скудные наши предметы, запихивают в намокшие мешки.)

— Пишущую машинку не забудь. Или это считается орудие труда?

— Какое орудие?

— Может, пишет что.

— Писатели! Раньше гусиным пером писали, и получалось не хуже.

Лишь пианино засопротивлялось выносу. Его пробовали развернуть и так, и этак, но оно, кряхтя, упиралось одновременно в стену и в дверной косяк — непонятно казалось, как его сюда внесли; пришлось его, наконец оставить в покое, только заклеить крышку бумагой с печатью и двумя красными пломбами, вызывавшими мысль о кляпе. Молодые люди на подоконнике все пели свое под гитару вполголоса, двое обнимались — жизнь в доме шла своим чередом. Две незнакомых женщины, деловито шушукаясь в углу, обмеривали зачем-то в комнате плинтус портновским метром. Одна оглянулась на маму, встретила с ней взглядом и, как школьница, спрятала метр за спину.

— Ну, чего стоишь? — по-свойски подтолкнул отца в плечо инвалид-служитель. — Пока время есть. Последнее, можно сказать, свидание. Последнее слово. Подойди попрощаться. Это можно.

Мама еще держится, еще стоит прямо, все силы требуются ей теперь на то, чтобы напрячь спину, чтоб не прорвался вопль; с этого дня она будет держаться, как никогда — ни признака того, что могло бы показаться неблагополучием не просто телесным. Папины губы шевелятся безмолвно — или я в ту минуту оглох? Что он сказал перед уходом? Что он мог сказать?

Мы жили.

Вниз по ступенькам. Все глубже, все глубже. Полоски пижамы теряют цвет, очертания расплываются в чем-то прозрачном, как слезы, туманящие глаза.

16. Сон о надежде и безопасности

Оказывается, можно привыкнуть и к этому. Считаешь срок чьего-то отсутствия в близкой жизни, не представляя, как надолго может он растянуться в действительности, отгоняя пустые мысли о безвозвратном и непоправимом. Можно ведь уехать и навсегда, без надежды увидеться снова, можно и наоборот, считать смерть отсутствием, особенно если она ничем не удостоверена. То есть разница даже не в надежде, не в возможности возвращения? В чем же тогда? Почему ты все не можешь разрешить каких-то простых мыслей? Скажем, так: человек остается жив, пока мы о нем думаем, как о живом, пока от него, например, могут приходить вести. Но ведь если даже и не приходят — это тоже еще ничего не значит.

Это, как прежде, называлось жизнью. Мы наведывались каждый день в местную почтовую контору справиться насчет писем. Там пахло сургучом, пы-

лю и кипяченой водой. Полузнакомая соседка допивала чай из эмалированной кружки с картинкой мухомора, отхлебывала еще раз, потом наконец ставила кружку на барьер, соглашаясь уделить нам внимание. Пристально, с безглиявым видом изучала документы обоих, каждый раз с одинаковой тщательностью сверяла лица с фотографией, как будто успела нас со вчерашнего дня забыть, каждый раз подозрительно интересовалась, почему на моей фотографии лицо без бороды, хотя у меня борода, а, выслушав объяснения и никуда больше не заглядывая, отвечала, что писем нет. Мы возвращались под дождем, с одним зонтиком на двоих: мама в библиотеку, где на полках все больше оказывалось переплетов с выпотрошенными или подмененными внутренностями (злумышленников ни разу не удалось уличить, мама ждала неизбежной грозы, но никто из читателей пока ничего не замечал; впрочем, и читатели почти не появлялись); я шел домой, где у меня уже не было пишущей машинки, да и некому было теперь приносить мне бумаги в перепечатку. Бумага вообще становилась исчезающей ценностью. На случайных клочках, на пустых полях и оборотах, никому не понятным почерком и непонятно для кого — просто чтобы дать выход чему-то, что подступало изнутри, как тошнота, и не просто к горлу, а дальше, к мозгам головы, — я записывал обрывки фраз, звучавших то жалобно, то вопросительно, однако остававшихся без ответа и не складывавшихся в сюжет.

Я пытался написать про донимавшие меня запахи: запах мелкого дождя, который не лил, а стоял, прокисая, в воздухе день за днем, неделю за неделей; запах тягостных дней, которые хочется не прожить, а изжить, пропустить, как пропускают через себя еду, не интересуясь вкусом, перевести поскорей в прошлое, как обрывают загодя, не дожидаясь полуночи, листок календаря; запах промокшей под дождем одежды, которая дымится на спине от соседских взглядов (соседи были, впрочем, дружелюбны, как никогда, заранее надевали при встрече сочувственные, готовые к вопросам лица, и ничуть не смущались, когда мама от их сочувствия уклонялась — в сознании полноты своего превосходства); запах маминых страхов и уязвленной маминой гордости, когда она по выходным уезжала на толкучку продавать что-нибудь из остатков домашних вещей — подальше от дома, в Заречье, чтобы не встретить знакомых; запах беды и нужды, которым приправлена была наша скудная пища, — и чего-то еще, пока не распознанного, не проявившегося в уме, — он густел, уплотнялся, словно от деятельности моей же мысли, и вот однажды обрел материального носителя, объявившего о себе неожиданным вечерним звонком в дверь.

Из-под мокрого брезентового плаща, из нагрудных внутренностей приезжий извлек записку от папы, который сообщал, что у него все в порядке и просил оказать гостеприимство Виктору Фомичу Сайкову, работнику охраны. У сапог Виктора Фомича стоял фанерный крашенный чемодан, и под цвет чемодана было обветренное лицо охранника. Оно багровело все больше от смущения и комнатного тепла, и все отчетливей проявлялся в тепле запах, как у собаки,

пришедшей с дождя, но я чего-то все не мог в нем понять, не мог вспомнить, почему он кажется мне знакомым. Запах кислой кожи, прелой овчины, запах сапожной смазки и потных портянок — но чего же еще? может быть, жизни, в которой пребывал сейчас папа. Сопя смущенно, как деревенский гость, выставил к столу свой взнос: завернутый в тряпицу шмат домашнего сала и двухлитровую банку маринованных волнушек.

— Собственного заготовления, попробуйте. Прошлого, правда, урожая, так ведь новые еще не пошли. А через месяц-другой вся зона, то есть весь поселок будут пахнуть маринадами, такой дух пойдет. У нас ведь природа, вы не думайте. За проволокой самая природа нетронутая. Лечебный, можно сказать, воздух. Питание трехразовое, по международной норме. К нам даже иностранцев возят... вот... — Извлек из кармана мятый цветной буклет, развернул.

Пейзажи соснового леса, поляны с удивительных размеров грибами, даже романтическая косуля. Вот за соснами аккуратные длинные дома или бараки, участок бетонного забора, колючей проволоки не разглядишь. Вот, видимо, производственный цех, люди в пижамах, похожих на папину, возятся у верстаков.

— Да, главное-то забыл! — Виктор Фомич полез в чемодан, вытащил картонную коробку, из нее извлек куб прозрачного материала с застывшими внутри фигурками: за столом с розовой скатертью сидела семья, мать, отец, сын, на столе аккуратно изображена крохотная посуда, даже маленький зеленоватый графинчик, светила заемным светом лампа в розовом абажуре, а сверху вниз медленно опускались, как снежинки, белые воздушные пузырьки. Вдоль нижней кромки изящно выгравирована надпись: «Берегите жизнь». Пузырьки осели.

— Теперь надо перевернуть, чтобы снова пошло, — пояснил Виктор Фомич. — Это от папаши вам сувенир. Наше производство. На экспорт хотим пустить. Если технологию рассекретят. К графинчику этому комиссия придиралась, но пойдди докажи, что там алкоголь. Пропустили.

(Я, кажется, уже готов был узнать запах: он начинал волновать ноздри долгожданной надеждой, он вызывал румянец волнения на маминых щеках.)

— Я ведь сюда по делам тоже приехал, хоть, вроде, и не официально, — понемногу оживлялся охранник. Заветный зеленый графинчик теперь стоял перед ним в натуре. — Тут в городе наш филиал раньше был. Теперь мы считаемся филиалом. Я, правда, сам не по производственной части, но отчего б не поехать, если есть где остановиться. Тем более, ни разу в городе не был. Троллейбус, представляете, только по телевизору видел. А папаша ваш говорит: можешь, говорит, переночевать у меня, если что. Комната есть, говорит, лишняя. Он ведь человек понимающий, что к чему. Наш, можно сказать, человек. С

администрацией сотрудничает. Норму, правда, не всегда выполняет, но я ведь тоже могу подойти с пониманием, не то что некоторые...

Время от времени он поворачивал голову на толстой багровой шее, исподволь, порциями отмечая обстановку квартиры: буфет, диван, обои. Вскинув короткую белесую бровь, особо поощрил красную пломбу на пианино — как будто узнал знакомого. На пианино стояла статуэтка темно-коричневого фаянса — до сих пор не вполне разгаданная загадка моего детства. Она изображала скорей всего трех богатырей на чем-то вроде трактора, а может, боевой машины: от трактора были очертания ребристого радиатора, на мысль о богатырях наводил островерхий шлем центральной, возвышенной, по пояс обнаженной фигуры и бдящий жест ее ладони над глазами. Но игра теней или поворот взгляда могли превратить их совсем в другое: гору с кустарником и скалами, кристаллический нарост, замок с башнями. Охранник задержался на нем с интересом. Но чего-то ему не хватало, чем-то он был не удовлетворен: может быть, отсутствием признаков хотя бы остаточного богатства, которое делало бы понятным и оправданным папино пребывание в его владениях. Неуверенность в правильном понимании заставляла его прибавлять себе значительности.

— Человеку ведь всегда можно жизнь испортить, если надо. Способов много. А можно и по-хорошему. Зависит от отношения. Можно и освободить досрочно, и по состоянию здоровья. Тоже в наших руках. — Он говорил и замолкал, оценивая, дошло ли до нас. Мама смотрела на него заворуженно. — Хотя от нас некоторые, поверите, уходить не желают, назад рвутся любой ценой. Мы дома у себя, говорят, не всегда на стиральной простыне спим, а здесь на полном казенном довольствии, только выполняй правила. Чем не жизнь? У нас даже телевидение есть свое, местное, передачи по всем проблемам. У нас сидя больше ума наберешься, чем... Да, а телевизор-то ваш где? Тоже взяли? — понял он наконец, чего ему здесь не хватает, чтобы окончательно удостовериться, что никакой загадки в нашем существовании для него нет и можно держаться здесь без смущения.

Он полюбил сидеть в папином кресле. Оно было слишком низким для человека с таким тяжелым задом, подняться было для Виктора Фомича проблемой. Но он и не спешил подниматься. Ему нравилось именно так подолгу сидеть, смотреть из-под толстых надбровий маленькими красноватыми глазками, глазками охранника и стрелка. Он ходил по дому в домашних тапочках, галифе заправлены в шерстяные носки потного цвета, особенно густо источавшие узнаваемый, но до конца все-таки не распознанный запах, а когда Виктор Фомич уходил по неведомым своим делам, этот запах оставался в доме как бы его представителем — вместе с фанерным чемоданом, который теперь стоял в родительской комнате (мама переселилась ко мне), изо дня в день обрастая картонными ящиками, свертками, даже бидонами: приносимой из города добычей.

Однажды они встретились с мамой на Заречной толкучке, где она очередной раз пробовала продать остатки никому не нужных семейных воспоминаний. Посмотрел на нее со снисходительной усмешкой, без слов забрал вещи, а вечером принес неожиданно приличную выручку, вознаградив себя лишь вполне заслуженной бутылочкой да еще угощением к ней. Но мало того — он принес нам новое письмо от папы, которое получил, по его словам, через какое-то свое здешнее управление, и мы не стали спрашивать, почему оно не пришло к нам в обычную контору. Так, конечно же, было быстрее и надежнее. Письмо ничем не отличалось от предыдущего: те же несколько слов о том, что у него все в порядке, и просьба оказывать гостеприимство работнику охраны Виктору Фомичу Сайкову, но мама смотрела на доброго вестника повлажневшим от благодарности взглядом; щеки ее пылали.

— А вы думаете! — благодушно разглагольствовал Виктор Фомич, переливая содержимое бутылки в папин графинчик, как человек, сделавший хорошее дело. — Я же говорю, они там живут, может, лучше, чем вы здесь. Это у вас забота, как сегодня прожить да чем пропитаться, а за них уже позаботились и калории просчитали. Сделал свою норму — и в тепло, отсыпайся. А ты в любой мороз, ночью должен торчать на вышке. У меня разве есть такие удобства, как у вас? — обводил насупленным взглядом стены, опрокидывал рюмочку и, заняв, какое-то время сердито сопел от обиды на несправедливость жизни, которая заставляет человека терпеть тяготы ради других, может, не достойных такой самоотверженности. В маминых глазах я увидел смятение, она как будто немного даже испугалась справедливости его слов и усовестилась собственного благополучия. Но Виктор Фомич уже отошел. — Ничего, ладно. Я вижу, вы правильно понимаете жизнь. Это хорошо. Вам ведь свидание еще не скоро положено. Но можно и поскорей, правильно я говорю? Все от нас зависит. Может, вообще все даже побыстрее кончится, чем вы надеетесь. Ясно я говорю? Потому что Виктор Фомич тоже понимает, когда умеют себя вести. Может, я вам скоро скажу одно словцо, вы даже не догадываетесь, какое. Только чуток погодя, надо еще посмотреть...

Хитро прищуривает один глаз. Впрочем, и другой, не прищуренный, представлял собой щелку, почти заплывшую от благодушия, сала и выпивки. Потом оба окончательно закрываются в дремоте, а мама все смотрит на него с ожиданием и надеждой.

Иногда, подолгу стягивая в прихожей сапоги, чтобы сменить их на тапочки, он вдруг начинал рассказывать какую-нибудь историю, смысла которой я все никак не мог ухватить. «А эта рыженькая-то с собой хотела покончить, снотворных наглotalась, представляешь? Поверила стерве, дура, что этот ее обманывает. Ну, он тоже, конечно, мудака. С бабами разве так надо?». Не только я, даже мама не сразу догадалась, что он пересказывает сюжет очередной телевизионной серии, которую ходил смотреть еще к каким-то здешним знакомым. Он добросовестно хотел приобщить нас к понятиям общей культурной жиз-

ни — и покачивал головой, убеждаясь в нашем несоответствии. Он объяснял нам свои правильные гигиенические представления, например, полезность зубного элексира, которым пользовался вместо зубной пасты, и питательные свойства обычной, не слишком очищенной водки.

Однажды я увидел, как он танцует сам с собой перед маминым настенным зеркалом, повязав на служебную зеленую рубашку только что, видимо, купленный галстук в радужных разводах, потом заменил его другим, с такой же радужной птицей; ноги в потных носках бесшумно топтались и разворачивались, руки обнимали невидимую, но явно внушительных габаритов партнершу, зад был галантно отставлен; губами Виктор Фомич сам для себя создавал музыку.

И вдруг я заметил, что не ощущаю уже никакого запаха. Это дошло до меня как-то под вечер, когда к нам в дверь позвонили две домовых активистки. Они уже были у нас при обыске среди понятых или зрителей, зачем-то начинали тогда обмеривать стену портновским метром, но смутились маминого взгляда. Теперь они явились завершить свое занятие, то есть установить для начала излишки жилплощади, слишком роскошной на двоих, при нынешних-то проблемах с жильем и приостановленном строительстве. Сами знаете, какое положение в городе, внушали они в два голоса маме, которая пыталась их не пропустить внутрь квартиры: десятки семей живут в аварийных домах, между прочим, с угрозой для жизни, а у них дети малые, вы же интеллигентный человек, должны понимать... И сами уже понемногу теснили маму в глубь прихожей, не слушая ее ответов, держа портновский метр наготове. Мало ли что здесь прописано трое. Одного-то пока нет, и когда вернется, еще вопрос, речь же не идет о выселении или чем-то таком, нет, может, о временном подселении, не более того, ввиду особых обстоятельств... Еще немного, и мама, возможно, поддалась бы не столько их физическому напору, сколько собственному чувству справедливости, — но тут открылась дверь родительской комнаты — как в театральном проеме, появился в ней Виктор Фомич, в натальной теплой рубашке, в синих галифе, заправленных в шерстяные носки: наш охранник, наш ангел-хранитель. Он не произнес ни слова, ему не надо было ничего произносить — обе активистки проглотили остаток своих речей с коротким писком, как на обрывающейся с ускорением магнитофонной ленте, и тут же исчезли с быстротой неправдоподобной, не то чтобы беззвучно, а как бы с бульканьем, какое бывает, когда в раковину уходит последняя вода.

Дыханием надежды и безопасности веяло в этот миг от монументальной фигуры Виктора Фомича. А запаха никакого больше не было, я его не воспринимал, как не воспринимаешь своего, привычного.

17. Приглашение на сеанс

Мы так привыкли получать из его рук письма от папы, что я даже вздрогнул, когда он сказал мне про какую-то почту в ящике. На сей раз почему-то не возникло мысли об ошибке или недоразумении (какое нам может быть в ящике письмо?), и вздрогнул я не от неожиданности, наоборот: было чувство, что именно чего-то подобного я давно ждал, как будто внутри меня самого что-то очнулось после забытья, смутно узнаваемое, но еще не ясное, суля скорей всего новую тревогу — как раз тогда, когда ты, казалось бы, худо-бедно обжился в замершем, нерасчлененном, словно шум нудного дождя, времени. Его, конечно, хотелось бы поскорей изжить, но ничего в этом промежутке не меняя, не шевелясь, под охраной и покровительством уже привычного гостя, который все еще не собирался нас покидать.

Надпись чужой рукой на конверте без обратного адреса; внутри цветная открытка с гладиолусами сорта «Салют», на обороте прописными буквами впечатана моя фамилия с инициалами — все остальное можно было считать художественным оформлением вокруг нее: прихотливым почерком, с завитушками, с виньетками по углам в два цвета, красный и зеленый, некий Виктор Никитич, без фамилии, приглашал меня «на сеанс по взаимно интересующим вопросам». В нижней части открытки указан был адрес с номером почему-то квартиры и вдобавок еще комнаты, куда я приглашался, а также дата и час. Дата была сегодняшняя, до назначенного часа оставалось всего двадцать пять минут, и я в сомнении переводил взгляд с приглашения, где инициал моего отчества оказался перепутан, на конверт, где номер дома в адресе был указан 14 вместо 17. То, что письмо все-таки попало в мой ящик, не удивляло, как и отсутствие почтового штемпеля, наоборот, как бы подтверждало особые свойства письма, но в то же время оставляло маленькую надежду на ошибку. Больше всего меня смущало, однако, сомнение, знаю ли я сам, чего на самом деле хочу. Виктор Фомич, сопя, заглядывал мне через плечо.

— Инициал не мой, — показал я, радуясь, что могу с кем-то поделиться.

— Так ты им сразу скажи: это не ко мне, — оживленно подхватил охранник. — С неточным инициалом повестка не действительна. Пишите новую, если хотите.

— Повестка? — переспросил я.

— А бес их теперь поймет. Сеанс! Какую-то стали разводить самодеятельность. Новые веяния.

— А если вообще не пойти? — спросил я.

— Имеешь полное право. Раз инициал не твой. Только я скажу, знаешь, как старший товарищ: так, может, выйдет себе дороже. Ждать, повторят вызов, не повторят. Ведь все на нервах, и неизвестно, в чем дело, что за сеанс. Может, в твоих же интересах. Тем более даже написано: «по взаимно интересующим».

— Может, что-то про папу, — сказал я, будто оправдываясь непонятно за что.

— Все может быть. Ты сам на всякий случай не спрашивай, вообще лучше помалкивай. Ничего не знаю, ничего не видел, ничего не помню. Справку хорошо бы какую-нибудь захватить, о здоровье. У тебя как насчет головы? Самое надежное дело. Сам не признаешься — ничего тебе не докажут. Им ведь, может, ничего от тебя тоже не нужно. Лишь бы галочку для отчета поставить да дело закрыть. Раз уж заведено дело, нужно его закрыть.

— Дело? — сказал я.

— Повесточку прислали, значит, есть дело. А может, конечно, просто напугали. Или даже пошутил кто. Бывает. Все равно лучше выяснить сразу. Да, а матери пока вообще говорить не надо. Правильно? — и подмигнул по-свойски.

На скамейке у подъезда, подстелив под себя от сырости полиэтиленовый пакет, сидел заметно вдруг постаревший Виктор Павлиныч в пенсионерском френче; сизое пятно успело распространиться и на вторую щеку. Сложив постариковски ладони на закругленной рукоятке палки, поставленной между колен, он с насмешливым интересом наблюдал, как я, заглядывая то в открытку, то в номер над подъездом, уточняю правильность своего курса, и покачивал головой.

— Опаздываем, а? — укорил тоном добродушного школьного сторожа, уже прозвонившего к началу; но я все-таки удержался от соблазна поздороваться с ним, как со знакомым. — Ох, мать честная, когда же вы за ум возьметесь, честное слово?.. Ну, давай, не робей, авось обойдется. Лифт только не работает, ну, да третий этаж не высоко.

Я проскользнул мимо, как стараются проскользнуть мимо сумасшедших и пьяных, которых лучше не зацеплять излишним общением. Лифт в самом деле не работал. На лестнице пахло известкой не вполне просохшего ремонта, но потолок уже был испачкан, как водится, прилипшими обгорелыми спичками. Нужный мне номер действительно оказался на третьем этаже, он значился у кнопки звонка сбоку от двери, обитой коричневым дерматином, в ряду десятка таких же кнопок. Еще раз проверить по бумажке цифру и нажать. В смотровом зрачке засветилось электричество.

Налитое лицо с толстой от внутреннего сала кожей. Домашние тапочки и фуфайка, служебные синие галифе, направленные в теплые носки потного цвета... разве что белесые волосы на темени поредели... (Снова напоминаешь себе, что не следует удивляться, а тем более проявлять удивление, и снова ни в чем не уверен). Не здороваясь и даже не взглянув на конверт, который я держал как объяснение своего прихода, лишь шевелением бровей подтвердив, что знает, кто я, он так же молча, подбородком указал на кучу домашних тапочек в углу, под вешалкой, где висело зимнее пальто с рыжим собачьим воротником, старомодный зонт и даже купальный женский халат с капюшоном. Я понял, что надо

переобуться — паркет в коридоре блестел свежим лаком. Неловкость была в том, что от сырости и холода я опять по привычке обернул ноги старыми газетами, которые, конечно, превратились в бумажную труху, и эта труха до сих пор прилипла к носкам. Пригнувшись, чтоб загородиться спиной от надзирательского взгляда, я торопливо стал счищать клочья внутрь ботинка. Боже, на правом носке вдобавок проглядывала дыра! Немного бумажного мусора все же попало на пол, я быстренько подобрал его, всей спиной чувствуя насмешливый взгляд. Тем же безмолвным движением подбородка мне было предложено пройти вперед.

Растянутый, как в гостинице, коридор с поворотами, я шаркаю шлепанцами без задников по паркету, слыша сзади сопение сопровождающего. Из дальней двери санитарка в белом вывезла маленькую каталку с каким-то, видимо, прибором, закрытым стерильной салфеткой, тотчас скрылась за соседней дверью. Провожатый обернулся на меня, словно желая убедиться, успел ли я что-нибудь заметить, недовольно покачал головой: «Бардак, е-ту-ма»... Нет, это была не гостиница. Оранжевая крашенная лампочка горела над дверью слева, точно над рентгеновским кабинетом, где идет работа. Бабий крикливый голос слышался из-за дверей: «Ты, сука долбаная, думаешь со мной в молчанку играть? Ничего не знаешь, ничего не помнишь? Вспомнишь! Ты у меня такое вспомнишь, что сам удивишься, сколько из тебя дерьма повывлазит. Сразу память прочистит, лучше, чем клизмой. И самому легче станет. Не помнит он!»... — но мой провожатый уже поспешил мелкими шажками вперед, чтобы открыть передо мной следующую дверь. Покачал опять головой чему-то своему; это можно было растолковать, как: «Ну дает!» — но было ли тут одобрение или наоборот?

Нет, я не испытывал удивления. Лишь отмечал вслед за мгновенным, точно легкая тень, замешательством: вот, значит, как это выглядит — как будто подтверждал что-то для себя, хотя еще не мог сказать, что «это». Поперек дальнего от дверей угла письменный стол с лампой под зеленым колпаком, рядом книжный шкаф, сплошь уставленный одной и той же книгой красного цвета. На подоконнике цветы в горшках. В проем полуоткрытой двери видна была вторая комната: старомодная железная спинка кровати с еще более старомодной горкой подушек на ней; на стене фотографии в рамочках, детский рисунок: дом и забор. Виктор Никитич — так мне приходилось его называть — указал мне стул у противоположной от стола стены, сам стал натягивать оставленный на спинке рабочего кресла пиджак с ромбовидным малиновым значком высшего образования. Пиджак не налезал на толстый рукав фуфайки; тогда Виктор Никитич просто накинул его на плечи, сел, наконец, за стол, и верхняя часть его приобрела вид отчасти официальный — благодаря значку, отчасти домашний — потому что пиджак был все же внакидку. Загорелась уютная лампа. Наклонясь боком, Виктор Никитич стал извлекать из нижнего ящика стола папки.

Их оказалось шесть. Угол потолка над столом был свежезамазан, но на нем проступали уже разводы новой сырости.

— Фамилия, имя, отчество? — приступил он голосом протокольным, как стук пишущей машинки, и надел очки. Странно, я все-таки ждал другого... не знаю, чего. Наверно, самое время было указать на несоответствие инициала, а заодно и на неточность адреса — теперь мне действительно захотелось, чтобы выяснилось недоразумение и можно было уйти. Собеседник, приподняв очки на лоб, посмотрел на открытку издалика без желания ее приблизить, словно не мог понять, о чем я.

— Может, вы желаете воспользоваться услугами переводчика? — вдруг спросил он.

Голос, как назло, опять предательски застрял.

— Я спрашиваю вас об этом потому, что наши правила дают каждому человеку право участвовать в сеансе на языке, который является вашим родным.

Я только молча покачал головой: не надо.

— Почему не хотите? — спросил он озабоченно и даже как будто обиженно, глядя на меня поверх очков; было чувство, что они ему только мешали. — Вы не думайте, мы происхождением или чем таким не интересуемся. Для нас все происхождения равны. У нас даже пункта в анкете такого нет. Вот, — показал мне издалика поднятый лист. — Наше дело обеспечить права. А то потом говорить будете.

Я замотал головой еще убедительней: не буду — но чувствовал себя все же слегка виноватым за неспособность пойти навстречу.

— Ну, дело ваше, смотрите. — Побарабанил пальцами по верхней папке. — Как вообще жизнь?

Я пожал плечами.

— А чего вы так жметесь? Расслабьтесь. Дома в порядке? Краны не текут? С соседями отношения нормальные? Ну? Откровенней. Может, какие жалобы? Санитарная обстановка, то, се? Чужие голоса слушаете? Не только в смысле радио? Идеи там разные бывают? Чувство тревоги или, допустим, вины перед неизвестно кем? Неужели все в порядке? Удивительно. Тогда, может, нам не о чем говорить? Или, может, просто не желаете по душам? Ну, как хотите. Можно и по-другому. — Побарабанил пальцами по столу. — Можно и по-другому. Можно... Вы ведь догадываетесь, почему вас сюда пригласили?

Голос совсем вышел из повиновения. Для экономии времени я опять же пожал плечами: откуда мне знать? Он не менее выразительно вскинул брови вместе с очками: в самом деле не догадываетесь? Я чуть-чуть развел ладонями, извиняясь за несообразительность. Следователь (наверно, это называлось все-таки следователь) хмыкнул, раскрыл верхнюю папку. Достал какую-то фотографию, посмотрел на нее, на меня, опять на нее. Положил снова в папку, закрыл, еще побарабанил пальцами.

— А вы подумайте, подумайте, — сказал он без выражения, заученно, механическим тоном. — У каждого найдется, что вспомнить. Или вы ангел безгрешный? Ангелов безгрешных я за этим столом пока не встречал. В этой ком-

нате. Никакой, значит, вины, никаких сложностей, ни внешних, ни внутренних? Подумайте, подумайте, ложный стыд только вредит. Для вашей же пользы. И не только, между прочим, для вашей. О других тоже не забывайте. Которые, может, от вас зависят. От вашего поведения. Вам ясно, что я имею в виду? Не надо так закрываться, ни от себя, ни тем более от других. Все люди, все человеки. Один раз живем. А мы вам, если понадобится, поможем...

Неслышно открылась дверь слева от меня, вошел человек в спортивном свитере, вельветовых брюках и таких же, как у меня, тапочках — видно, переобулся у входа. В одной руке у него был портфель, в другой сетка-авоська с молочными бутылками. Виктор Никитич с явной неохотой встал из-за стола, снимая с плеч пиджак — голос между тем продолжал:

— Наш долг, наша служебная обязанность именно помогать человеку. Есть средства. Каждому найдется что вспомнить. Только надавишь немножко — сам удивишься... — тут следователь спохватился, ткнул пальцем куда-то под столешницу. Голос умолк.

— Опять самодеятельностью занимаемся, Егорыч? — спросил вошедший.

— Так ведь звонили, я и открыл, — добродушно объяснил человек, оказавшийся Егорычем, и, наконец, избавился от очков. В голос вернулось живое, домашнее звучание. — У меня к вам, собственно, дело, Виктор Потапыч...

— Ну, не сейчас.

— Насчет талонов.

— Я же сказал, потом, — донеслось уже из соседней комнаты, где пришедший звучно разгружал бутылки.

— И еще по общественной линии. Тут коллективный выезд. На спектакль. Наш подъезд должен сдать списки.

— Что еще за спектакль?

— А бес его знает. Вроде наши из Третьего отделения экспериментируют. «Попытка» называется.

— Какая попытка?

— Первая, как я понимаю.

— В каком смысле?

— Что в каком смысле?

— Ладно, у вас тут не разберешь... Будем считать, попытка не пытка, — хмыкнул вошедший как бы себе под нос; я не видел выражения его лица.

— Чего? — насторожился Егорыч.

— Я так, про себя, — человек вернулся в кабинет, стал надевать принадлежащий ему по праву пиджак со значком. — В общем, не по моей это части. Как-нибудь без меня.

— Это, конечно, Виктор Петрович. Это правильно. Только без искусства совсем тоже нельзя. У нас с ними, можно сказать, общая задача.

— Это какая же? — тот посмотрел на него с насмешливым интересом.

— Правда, Виктор Иваныч. Главное правда, или, другими словами, истина. Это с одной стороны. А с другой обеспечение гармонических интересов.

— Как, как?

— Может, я не так выразился? То есть, правда — это само собой. Но для гармонических интересов ее одной мало. Я в этом смысле.

— Да ты, я смотрю, Егорыч, философ, — человек, которого я не знал теперь, как называть, сел в кресло, откинулся на спинку. — Интересный поворот мысли, между прочим. Значит, мало толку доискиваться, куда ушли двести тонн цемента и почему у нас потолки текут? Решили, что надо глубже копнуть? — Стал запихивать папки обратно в тумбу стола. — Между прочим, вот тоже писатель, — вдруг показал на меня.

Егорыч покачал головой с усмешкой.

— Это я уже понял. Свободный художник. Ни в чем не виноват, ни за что не отвечает.

— А! — Следователь посмотрел на меня с интересом. Я молчал все в том же замешательстве. — Но ведь зачем-то пришел?

— Ну, это я не знаю. Это у него спросите. Если считает, что незачем, мог бы не приходить.

— Ну, зачем сразу так?

— Кто не хочет, тот ведь как хочет, — продолжал ворчливо Егорыч. — Мы что, неволим?

— Никто этого не говорит.

— Да кто их знает. Пока не говорит... А может, его тоже туда? — спросил вдруг.

— Куда туда?

— В театр?

— Сказано: не по моей части, — отмахнулся хозяин кабинета уже слегка раздраженно. — И вообще заболтались мы с тобой. Работать надо.

Егорыч оглянулся напоследок, явно не желая покидать помещение.

— Цветочки бы надо полить.

— Потом, потом.

— Обедать здесь будете?

— Хотите есть? — хозяин взглянул на меня.

Я мотнул головой: нет.

— У нас прилично готовят, — сказал Егорыч с оттенком обиды в голосе.

Я повторил отрицательное движение.

— Стричься, бриться? — уже не мог остановиться Егорыч. Оба смотрели выжидательно.

Я снова показал: нет.

— Не желает, — они переглянулись. — Дело ваше. А то у нас мастер лучший в городе. И дешево берет... Ну, как знаете. Мерку можно снять на костюмчик. А? Не выходя из кабинета.

— В другой раз, — сказал хозяин, как бы извиняясь за меня.

— Не желает сотрудничать, — покачал головой Егорыч. — Или в чем-то вы нас подозреваете? Ну-ну. — Посмотрел на меня напоследок, подняв брови, и

покачал головой, как бы заранее удивляясь, о чем со мной можно говорить. Потом, попятившись, толкнул дверь задом и ретировался.

Странно, но я ухитрился забыть, какого цвета были только что книги в шкафу. Мне помнилось, что красного — не могли же они вдруг стать синими? Так бывает с особого рода картинками, которые по-разному видишь правым и левым глазом. Как будто корешки нарисованы были на мелковолнистом стекле. Зажмурить левый глаз и чуть сдвинуть голову, чтобы вернуть красный цвет. Нет, значит правый... Человек за столом с интересом наблюдал за мной — и вдруг сам подмигнул.

— Забавно, — сказал неизвестно о чем. — Придет же в голову! — Наклонился, открыл портфель, оставленный возле тумбы стола, извлек прозрачную пластиковую папку с несколькими разнородными листками, закрыл клапан. — Можно в таких условиях работать? А? — Снова подмигнул — или это был у него тик? — Здесь ведь, как вы, может, уже догадались, ведомственный дом престарелых. Служебный корпус у них на ремонте, и неизвестно, что с ним еще будет, фундамент осел — ну, как везде. Гостиницу тоже закрыли. А я тут, можно сказать, в командировке, вызвали в срочном порядке. Надо значит надо. Днюю здесь, можно сказать, и ночью. Сегодня первый раз в магазин вышел, захотелось, наконец, воздухом подышать — да вот, надо же, застрял в очереди. Что-то там давали, я так и не узнал, что. Хорошо хоть кефир для меня остался. Уж извините за накладочку. Обычно старперы эти мне сами все приносят, помогать рвутся, дела ищут. Чтоб выход на пенсию смягчить. Повесточки вот... то есть приглашения оформляют...

— Смежные профессии осваиваем, — слышалось неизвестно откуда.

— Черт!.. — Даже собеседник, мне показалось, вздрогнул. — Где это у них выключается? — поискал под столешницей, что-то ткнул. «А мы вам, если понадобится, поможем», — сказал тот же голос. Со следующей попытки отключение, видимо, удалось. — Да... — он с силой потер лоб, пробуя вернуть мысль; новая накладка выбила его из колеи. — А дела, скажу я вам, оказались в таком состоянии! Не беспорядок, а просто маразм, распад, другого слова не подберешь. Где начала, где концы — никто не знает, не помнит. Масса бумаг вообще пропала, скорей всего ушла в макулатуру. Протоколы, истории болезни, научные разработки — они им даже цены не способны понять. Какое-то здешнее помешательство... — В голосе его появился как бы вызов, не ко мне обращенный. — Кто-то, видите ли, посулил за эту макулатуру талоны, я не сразу даже понял, на что. Теперь разбираются. Скорей всего попробуют опять свести дело к афере, как и с цементом. Уже ведь беспокойство пошло, толки, ропот. А что говорят эти, там? — показал пальцем вверх. — Что они твердят? Издержки процесса, ошибки, злоупотребления, виновные будут наказаны. Трещины, как видите, замазываются. Но что значит замазывать трещины, если фундамент вот-вот поедет? — он почему-то постучал себя по голой части черепа. Стук получился твердым и звучным. — Отказывает уже простейшее чувство самосохранения. Животные скорей бы почуяли угрозу...

— А на самом деле? — сумел, наконец, пробиться я, воспользовавшись промежутком в его речи.

— Что на самом деле? — он посмотрел на меня озадаченно. Я замялся, точно вдруг забыл смысл запоздалого, не к месту вставленного вопроса. — Ну, знаете ли! — Мой собеседник возвел глаза кверху, как бы выражая высшую степень недоумения, но, может, напоминая и об осторожности перед невидимым слушателем. — «На самом деле» — не совсем по нашей с вами части, вам не кажется? Речь-то прежде всего о состоянии мозгов. А здесь важнее так называемой реальности может быть именно идея, если угодно, художественный образ — что-то, способное обеспечить людям долговременный смысл существования. Во всяком случае видимость смысла. Ради чего, скажем, соорудили в старину пирамиды или разные там соборы, которые веками все не могли достроить? Не просто же ради каменного результата. Нет, еще и чтобы объединить сообщество людей вокруг цели, на которую одному поколению заведомо не хватит жизни. Как называется эта цель — не столь, в сущности, важно. Мы с вами из других времен вправе относиться к любой из них как именно к художественному образу. Говорят, люди и богов придумали, кто как умел, по своему образу и подобию. Не оспариваю и не утверждаю. Каменного результата могло вовсе и не получиться, образ мог лопнуть, разочаровать, приходилось заменять его другим. Но непременно заменять. Если какому-то сообществу людей это не удавалось, оно терпело крах, исчезало, растворялось среди других. А сейчас уже не об отдельном сообществе речь. Ни у кого отдельно это и не получится. Здешний идиотизм и распад просто нагляднее, ощутимее, потому что обещано было что-то слишком близкое. О сознательном обмане я бы даже не стал говорить. В каком-то смысле мы действительно опередили других. Но ведь до всех дойдет, рано или поздно. Уже доходит. Поколеблены важнейшие опоры, а новые не просматриваются. Уже вряд ли что построишь, скажем, на вере в бессмертие отдельной души — основополагающей для нашей цивилизации. Но ведь не стало уверенности и в бессмертии самого человеческого рода. Не говорю о таких частностях, как идея прогресса. Мы давно уже не понимаем, куда всех нас тянет помимо чьей-либо воли. Мы даже не знаем, хотим этого или не хотим, только стараемся приспособиться к результатам собственной деятельности. Вот, если угодно, основа нынешнего состояния и первопричина всех частных бед. Потому что все остальное именно частности. Попытка исправить одну беду рождает кучу новых. Не знаешь уже не только, во что верить, — чего бояться...

Он остановился, видимо, уловив выражение моего лица.

— Кажется, я не с того конца начал, да? Вы так смотрите на меня... Извините. Меня самого сбил... этот... — кивком головы показал на дверь и голос невольно понизил. — Про что он вас спрашивал? Про ощущения, про чувство вины?.. Ну, как после этого приступить? Смежные профессии осваивают. Слышали звон!.. Экспериментальные спектакли играют... А впрочем, что значит не с того... Не так уж это далеко от нашей темы... может, в каком-то смысле даже подводит. Для вас ведь мои слова не совсем в новинку, не правда ли? Вам это

самому знакомо. Ощущение тупика, растерянности, какого-то бессилия перед жизнью. Неспособность что-то понять... или вспомнить. А надо, непременно надо. И не только ради себя, вот ведь что еще важно. Иначе с какой стати вы бы сюда пришли, тут Егорыч прав, не так ли? Одному, бывает, не справиться, нужна, глядишь, помощь, толчок со стороны. Пока нас не выбьет из колеи, мы чего-то в жизни просто не чувствуем и не осознаем, так человеческая природа устроена...

Был ли это тик, или он мне в самом деле подмигивал, как своему? — как будто призывал не притворяться. На что он намекал?.. Я не хотел откликаться, не хотел на него смотреть, я никогда не видел этого гладкого подбородка.

— Вы словно все чему-то сопротивляетесь, — он усмехнулся. — Ну ничего, не все сразу. Дойдет понемногу. Пофилософствуем еще немного на общие темы. Пусть слушают, если хотят, все равно вряд ли поймут. Меня, видите ли, особенно занимает вопрос, существует ли связь между состоянием наших мозгов или душ — и состоянием внешним? Причем именно взаимная связь. Тут обсуждались разные гипотезы, иногда самые фантастические. Вроде того, что внутри громадных масс могут возникать и накапливаться некие ощутимые энергии, положительные или отрицательные. А то еще, скажем, в известных легендах говорится о людях, на которых якобы держится некое равновесие мира. Их должно быть всегда строго определенное число. Допустим, тридцать шесть, но в любом случае не меньше. Никто этих людей не знает и знать не должен. Более того, они и сами даже не догадываются, что на них сходятся некие нити. Что это за равновесие, толковать можно по-разному; но по некоторым толкованиям для него не безразлично ни малейшее доброе движение, ни шевеление зла, ни мелкая фальшь или недобросовестность мысли. В нормальные времена всякие мелкие сдвиги компенсируются, запас устойчивости поддерживается как бы сам собой. И если кто-то из этих тридцати шести — или сколько их там — выбывает, его заменяет другой. Но непременно должен заменить. Как происходит выбор и замена, от нас скрыто. Но ведь сама природа умеет заботиться о воспроизводстве определенного набора нужных для самосохранения особей. Как поддерживает, например, нужную ей пропорцию мужчин и женщин. Или создает, скажем, органы, непонятно зачем нужные, как будто даже излишние. Их, может, следовало бы даже удалить, чтоб зря не воспалялись. Но оказывается, при некоторых обстоятельствах — болезни, опасности... да что это с вами? Вы побледнели... Вам нехорошо?.. воды?..

Я сделал знак: ничего не надо... прошло... Я не знал, что это было: гладкий подбородок окаймился черной бахромой, лицо поплыло... Вдруг он пальцем поманил меня приблизиться, пальцем же сразу пояснил: вместе со стулом. Теперь я сидел за столом против него. Он что-то написал на лежавшей перед ним бумажке, повернул ко мне. «Будьте осторожны», — прочел я. Посмотрел на меня в надежде встречного движения, но я опять мог только пожать плечами. Он щелкнул зажигалкой, поджег с уголка бумажку, подержал над пепельни-

цей, откинулся на спинку стула. Пальцы его постукивали по прозрачной папке — что там просвечивали за листки? Теперь я начинал в самом деле бояться дальнейшего разговора.

— Ну вот и хорошо, — сказал он, понизив доверительно голос. — На первый раз, так сказать, для вступления, может, достаточно. Главное, мы, наконец, все-таки встретились. Теперь постараемся вместе. Не все же бормотать самому с собой. Самого себя, глядишь, жалко станет. Побережешься дойти дальше предела. Как бы мозги не перегорели. И есть чего бояться, я понимаю. Не чета нам начинали просить, чтоб пронесло чашу мимо, а? Особенно если вообразить на себе не только свою ношу. Никто ведь ничего заранее наверняка обещать не может, никакая вера от этого страха не избавляет, приходится без гарантий... зато мир, между прочим, держится... Нет, это я, конечно, так болтаю... безотносительно. Просто к тому, что даже в мире, который кажется нам миром собственных мыслей, не все в нашей власти. Почему, думаете, в былые времена художник, приступая к труду, изнурял и очищал себя молитвой, постом, чем угодно? — лишь бы настроить душу и ум должным образом? Потому что подзревал в себе возможности разнообразные, слишком разнообразные... Но мы-то молитвам не научены. Вы моих слов не пугайтесь, я-то как раз намерен вам помочь, и помогу, для того и разыскал вас, для того мы с вами и встретились. Не смущайтесь, не отталкивайте этой помощи. Это в самом деле важно не только для вас... вы даже не представляете. Мне нужно ваше сотрудничество. Почему именно ваше? Но что делать, если на вас что-то сошлось. Пусть вы еще сами не поняли. Или не можете вспомнить. Я вам помогу. Хотите вы или не хотите. Иных вещей о себе лучше до поры не знать. Именно такой мне и нужен. Который знать не знает общих истин и мнений. Который способен изнутри, заново... Не робейте, не запирайтесь, не старайтесь опять увильнуть от себя самого. — Снова приблизил лицо, шепот становился не просто горячим — горячечным. Я не хотел продолжения, знакомая слабость подступала вновь, и теперь хотелось ей поддаться. — Здесь ведь никто не способен понять. Думают меня использовать. Но это еще кто кого...

(Не видеть этих полных, блестящих, словно от жира, губ, не слышать, не вникать в расплывающиеся слова)

— Не для себя же... раз на тебе столько сошлось... Раз уж попался. Не спрашивай почему именно ты. А кто же? При таком-то сходстве... не обязательно знать. Значит, надо. Ради истины. А что есть... как выразился... что выше истины как быть выш... ры как зирьлся ерорыч... что... всами... вайте-ка дашу руку болсло... булс рогачий... лоб... поле... так бледенели... в глаза... час... мотрите... будет в рападке...

Не узнавать, не видеть, как искажается зыбью гладкое лицо, перетекает дрожащая капля, внутри плавают перевернутые фигурки, множатся, тают, муха жужжит вокруг. Закрывать глаза, оторваться, понестись вместе с каплей медленно

в темноту, с замиранием, в немеряный провал, откуда брызгает в лицо теплая, на слюнях замешанная вода... не хочу... Красное лицо Егорыча расплывается перед полусмеженными еще ресницами.

— Ишь ты какой оказался, — произносит он с интересом, как будто сочувственным. На нем теперь почему-то белый халат. — А этот-то... не ожидал. По виду не скажешь. Верно говорят, свой лучше знает, на какую косточку нажать. Смотри ты! Уж лучше бы по-нашему, по-простому, верно? Вот попался, друг сердечный... Ну да ладно, это еще не страшно... Да ты что, в самом деле?..

Пришлось поставить меня на ноги и подтолкнуть для равновесия в спину. Снова по тому же коридору, теперь уже к выходу, невидимый провожатый сзади. За поворотом быстро скрылась каталка, тело укрыто белым. Та же оранжевая лампочка горит над той же дверью, тот же голос базарной торговли грозит: «Еще не вспомнил, милоч? Думаешь, сука долбаная, долго так сможешь в молчанку играть? Вспомнишь. Не сомневайся, у меня все вспоминали».

— На пенсии, а все не утомонится, — сказал за моей спиной провожатый, и я, не глядя, увидел его усмешку. — Надо значит надо. Правильно один ваш писатель сказал: ради правды страдать надо, страдать. Чтобы до самой-то подкожной добраться, до потрохов, до кровавого мяса. Тогда и мозги дойдут до кондиции, правильно я говорю? В чем-в чем, а в этом мы ученые...

Задумчивое движение: ткнулся не туда, без разрешения открыл боковую дверь. За ней оказывается стенной шкаф или чулан без окон. На табурете, судорожно вытянувшись, сидит полуголый человек с пустыми вытарашенными глазами. Белые, как мясные черви, присоски, растут из его черепа, и сам он бледен, как труп. На табурете против него старушка в халате санитарки вяжет чулок, длинный, как выпавшая кишка.

— Куда? Назад! — осадил меня сзади голос — всполошенный, а впрочем, беззлобный и даже как будто довольный. Мы уже приблизились к концу коридора. Мой провожатый забежал вперед, открыл крышку бокового щитка — внутри оказалось два ряда кнопок. Поколдовал над ними быстрыми пальцами — как пианист, или, скорей, фокусник — чтобы я не проследил, какие он нажал цифры на самом деле, какие только для виду, и не узнал секретного кода, позволяющего выйти из этой квартиры... Не оглядываться для прощания, скорей по лестнице вниз...

Я добрался уже почти до первого этажа, когда сверху меня окликнули:
— Эй! Эй! Ишь, быстрый какой! А ну-ка вернись сей момент!

Сердце неприятно екнуло: что-то не так. Не могло обойтись так просто, я чувствовал, меня еще должны были вернуть. Лицо Егорыча смотрело вниз сквозь лестничный пролет.

— А тапочки кто переобувать будет? Интеллигенция! Казенные, небось.

Пришлось переобуваться опять под его взглядом, я наспех просто сунул ноги в ботинки, не вынув оттуда опметков бумаги и даже не зашнуровываясь. Зашнуроваться лучше было внизу. На этот раз я не успел даже спуститься до следующего пролета — меня окликнули тотчас. Подниматься в незашнурованных ботинках было неловко. В двери открылось вырезное оконце, как в кассе, багровое лицо не умещалось в нем.

— Билеты возьми. — Рука протянула два театральные билета. — Начало в половине седьмого.

— У меня при себе нет денег, — попробовал я еще отвертеться.

— Рассчитаемся, — сказал Егорыч.

— И зачем два? — сказал я уже в закрывшееся окно.

18. Игра в меня

Я никогда еще не был в настоящем театре, если не считать спектаклей, которые нам привозили, случалось, в санаторий, даже как-то в больницу и играли в большом зале столовой, отгородив несвежим полотнищем сцену, как место особой, своим светом светящейся жизни, более насыщенной и плотной, чем по эту сторону занавеса. Ты готов был перенестись, погрузиться в нее без остатка, переживать ее изнутри вместе с законными участниками (преодолев приступ немоты, крикнуть, предупредить девочку на сцене, что ее подстерегает разбойник с наклеенными усами), но тебя там никогда не слышали, как будто голос в ту сторону не доходил, шиканье, смех и тычки возвращали тебя на жесткую зрительскую скамью. Потом в памяти все сливалось и перемешивалось: девочка, тычки, запах кислой столовской капусты в сморщенном облупленном лесу, чувство всегдашнего конфуза и несоответствия. Никогда нельзя было совместить постороннее понимание с пребыванием там, внутри... разве что в каком-то другом, настоящем театре, который можно было лишь вообразить.

(Смотришь и даже встречаешь взгляд, но тебя в этом взгляде нет и не может быть).

Я не видел прежде таких мраморных колонн, отражающих блики люстр и расплывчатые фигуры людей, черные и цветные пятна. Ропот приглушенных голосов вокруг головы шумит, пенится, не проникая внутрь, не расчлняясь на осмысленные слова; по коже лопаются газированные пузырьки ожидания, усугубленного еще как бы волнением ответственности перед деревенским гостем, которого ты привел на не опробованный тобою самим аттракцион: понравится ли? не будет ли разочарован? не чувствует ли он себя смущенным среди фланирующих по фойе, где пахнет духами и легким, особенным, театральным потом? Мне казалось, все попутно косятся на его галифе с сапогами, на защитного цве-

та рубашку и очередной, уже засаленный на узле галстук цвета все той же бензиновой радуги. Между тем мой охранник и спутник вовсе не думал смущаться, он чувствовал себя гораздо более своим, чем я, среди этой нарядной публики, которая начинала вызывать у меня мысль о состоявшемся все же коллективном посещении. Что-то общее было в лицах и фигурах, в выражении и повадках. Фомич уже обменивался с кем-то приветственным жестом, останавливался переговорить, забыв про меня... впрочем, вот и показывает на меня через плечо, не оглядываясь, большим пальцем... зачем? что он пояснял при этом?

Становилось все больше не по себе. Что-то было, я уже чувствовал, не так, ожидание непонятно затягивалось. Шум становился возбужденным, из него время от времени вычленились обрывочные голоса: «Не нашли еще?» — «Лька не вяжет». — «Сколько можно?» — «Замену». — «Зря ехали?» — «Пускай придумывают»... Что-то случилось, я уже догадывался (словно бы в ответ на мое желание), случилось с кем-то из исполнителей (напился, что ли?), ему ищут замену... хорошо бы не нашли. Я вдруг почувствовал, что испытаю облегчение, если спектакль не состоится. Не знаю почему, но лучше не надо. Как удачно, если кто-то им сорвал... им, это было их мероприятие, меня на него вытащили, а не наоборот. Так что перед охранником я не был виноват ни в чем. Я ничего ему не мог обещать. Я, в сущности, только передал билеты, и без того предназначенные нам обоим...

«Никакого чувства ответственности», — сказал рядом сердитый голос. — «Только и на уме, как бы смыться», — отозвался другой... Почему они опять оглядывались? — не на нас, на меня, я все больше чувствовал, что оглядываются на меня и переговариваются о чем-то. Как будто на самом деле я что-то им не так устроил, что-то срывал... А ведь хорошо бы действительно смыться, — вдруг сложилось из толкотни мыслей. Исчезнуть вообще, удрать от неотвязной, необъяснимой тревоги, от нарастающего беспокойства в мозгу... Тебя нет, и все... и спроса нет. Только придумать, как...

Пронеслось, полопалось — пузырьками среди общего шума — шума ожидания и неблагополучия... Из-за бархатной малиновой портьеры выглянуло белое безжизненное лицо и тут же исчезло, вызвав мысль о мучнистой ночной бабочке и усугубив все то же невнятное беспокойство. Кто-то, проходя, оглянулся опять. Впору было поискать зеркало, проверить, все ли у тебя в порядке с туалетом, пощупать бегло и скрытно пальцами там, сям... только негде было укрыться. Лицо, нарисованное поверх белил — то же или другое — опять высунулось в щель, наткнулось на меня взглядом и поскорей снова исчезло, как недостоверное видение. Улучив момент, когда никто на меня не смотрел, я сам заглянул, а потом и весь вошел за портьеру.

Казавшийся громадным зал растворялся в полутьме; после света я не мог различить в невянтом пространстве ни сцены, ни рядов. Кругом поднимались

скелеты черных конструкций, на веревках обвисали, как тени, полотнища. Фигуры в серых бесформенных балахонах собрались на пятачке, сравнительно освещенном, что-то негромко между собой обсуждали. Сослепу я чуть не опрокинул какой-то предмет, но успел его ухватить руками: это оказался торс женского манекена; единственная рука и голова валялись рядом отдельно. Никто не отметил произведенного мною шума: еще одна фигура появилась в светлом пятне.

— Ну, что там? — спросил вялый голос.

— Что теперь может быть? Записочку, говорят, нашли. Под вазой с цветами оставил.

— Записочку?

— Ну, как положено. Объяснительную. Если это считать объяснением. «Не получилось. Попытку считать недействительной». В таком роде.

— Не понимаю.

— Это он про нас?

— Очень остроумно.

— Как можно сказать: не получилось? Если мы и начать не успели.

— Может, он про себя.

— В каком смысле?

— Про свою попытку.

— В смысле, что его откачали?

— И того не сумел.

— Еще неизвестно.

— Как будто он мог предвидеть.

— Не его заслуга.

— Техника!

— Реаниматоры проклятые!

— Тем более, еще неизвестно.

— Это есть такой анекдот: «Реаниматоры проклятые!» Двое на том свете пристроились выпивать, третьего не хватает. Вдруг он тут как тут, возникает среди облаков...

— Может, он про всю свою жизнь.

— Остряк-самоучка.

— Вы слушаете? Только решили чокнуться — опять исчез...

— Так каждый может сказать.

— Так можно про всю нашу жизнь.

— В широком смысле.

— Не понимаю.

— Про всю мировую цивилизацию.

— Ну, не хотите, не надо.

— Да мы слушаем. Значит, опять исчез. А стакан?

— Какой стакан?

— Ну, третий? С ним тоже исчез?

— При чем тут стакан?

- Ладно, что дальше?
- В каком смысле?
- Появляется, значит, опять. Уф, говорит, еле отпустили!
- Нет, я нас имею в виду.
- Реаниматоры, говорит, проклятые!
- А...
- Какое теперь может быть дальше?
- Второго раза не дадут.
- И все из-за одного идиота.
- Вот ведь сволочь какая!
- А ведь сам говорил.
- У него, видите ли, не получилось! А до нас ему дела нет.
- А кто он, собственно, был такой?
- Сказано было, что он за автора.
- Что значит за автора? Он и был автор.
- Откуда вы взяли?
- А разве нет?
- Не понимаю.

В пятне света, среди разваленных предметов декорации, точно сумеречные усталые мотыльки; пудра на лицах напоминала пыльцу. На меня по-прежнему никто не обращал внимания. Надо было вернуться в фойе, но я потерял в темноте ориентацию, не знал, в какой стороне теперь искать щель портьеры, саму портьеру... и что-то тянуло меня туда, к этому пятну, к бесцветным невыразительным голосам. Для оправдания своего присутствия я на всякий случай держал в руке несколько подобранных на полу мятых листков.

- Ну, в общем, гасите свет?
- Только поманили.
- Считать недействительным.
- Как будто воздух спустили.
- Действительно, эксперимент.
- Как на лягушках.
- Только померещилось что-то.
- Забудьте и не вспоминайте.
- Было бы что забывать.
- Тем более вспомнить.
- Слова, не более того.
- А кто нас заставлял верить?
- Без этого тоже нельзя.
- Как будто нас спрашивали.
- Всегда на что-то надеешься.
- Какая теперь разница?
- Вот именно.

— Всю жизнь так.

— От нас ничего не зависит.

— Один идиот за всех возьмет и распорядится.

— Вот так моя тетка, как умирать собралась, порезала ножницами все белье, простыни, занавеси, скатерть новую, бархатную, за восемьдесят рублей. По старым ценам. Чтоб никому не досталось. Меня не будет, пусть никто с этой скатерти не ест.

— Думаете, от него зависело?

— А дочки ее еще у гроба дележ начали. У мертвой сережки из ушей стали тащить. Одна из левого уха, другая из правого...

— Как будто нельзя было по-другому.

— Кольцо тоже сняли. Даже зубы золотые хотели.

— Не знаешь, смеяться или плакать.

— Какая разница.

(Не голоса — тени голосов... Отчего же все так сжималось внутри?)

— Да вы что это расселись? Начинать будем или нет? Как дети, честное слово! — Еще один вошел в пятно света — распаренный, всполошенный, в черном костюме с галстуком, хотя и сбитом на бок. Волосы, которым полагалось прикрывать лысину, стояли, потные, торчком над половиной головы, воротничок полурасстегнут, платок в нагрудном кармане скомкан. — Ну? Что это вы совсем как неживые? Давайте, шевелитесь, шевелитесь! Время идет. Пора! Что вы, без одного человека не можете?

— Какой смысл? — откликнулся вялый голос.

— Что значит смысл? — развел руками вошедший. — Что он вам был, Господь Бог? Без него уже и смысла не стало? А с ним был?

— Ну, все-таки...

— Обязательно им, понимаешь, смысл! — бормотал человек, как бормочут себе под нос, ни к кому определенно не обращаясь — и не слова его производили воздействие, а интонация, напор энергии; он между тем уже двигался по сцене, что-то переворачивая, переставляя. — Слишком будешь думать о смысле, глядишь, мозги не выдержат. А? Жить не захочется. Как будто сами не знаете. Давайте начинать — а там, глядишь, и смысл появится. По законам игры и жизни.

— Но как все-таки... выходит, без автора, — слабо попробовал вставить кто-то.

— Что значит без автора? Нашли тоже!.. Самозванец, дезертир... слов не могу подобрать... бросил людей, понимаешь, одних, поставил на грань провала... Да еще в такой момент. Начальство черт знает откуда понаехало. Их что, назад возвращать? Тут коллективный, можно сказать, отчет... обмен опытом... научное и художественное значение... — он уже не вполне следил за своей речью и как будто начинал заговариваться. — Вы хоть понимаете, чем это пахнет? Думаете, выпустили вас игры играть? Можно сказать чур-чур и выйти? Не

изображайте из себя больших идиотов, чем вы есть. Уж мозги-то вам должны были привести в порядок... А ты что стоишь? Почему с незакрашенной рожей?..

Я не сразу понял, на кого он уставился за моей спиной. Обернулся посмотреть: там была прежняя чернота. Человек в черном на мгновение остановил разбег своей речи — но лишь на мгновение.

— А, ладно... тебе ж и не надо. Стой, значит, так. Вот, спрашивали, кто будет за автора. Как будто нельзя найти. Найдем. Незаменимых нет... вы меня поняли? — Он через все головы подмигивал мне, делал какие-то знаки: так перемигиваются понимающие взрослые, прося подыграть, чтобы ценой невинного обмана уговорить заупрямившихся, не сознающих собственной пользы или очевидной угрозы детей. Двое в балахонах перешептывались, оглядываясь на меня, один отрицательно качал головой. Как всегда, в нужный момент голос предательски застрял. Я смог лишь беспомощно показать листки в руке. Но тот не так понял мой жест.

— Нет, нет, — замахал руками. — По бумажке ничего не читать. Какие теперь бумажки! Все от себя. Как в жизни. Сказано: по принципу реализма. Как вспомнится. Начнете говорить, а там само зацепится. Пойдет, вот увидите. А насчет смысла не ваша забота, найдется кому объяснить. Ну, даже если что-то не так получится — тут ведь тоже не знатоки съехались. Подумают на худой конец, так надо. Тем более предупреждены, что эксперимент. Да пусть даже потом что скажут — все лучше, чем отменять. Лишь бы крутилось. — Он вносил уже какие-то последние поправки в костюмы и лица. — Ну, что? Ясна задача? Держаться до конца. Несмотря ни на что. Как положено. Пусть кто-то говорит: ах, все напрасно, ничего не получилось. А мы опять, а мы еще раз. Так вам объясняли? Никогда не поздно. В любой момент можно начать заново. Если, тем более, дают. Тем более надо оправдывать. И так далее... Ну, что у вас там было? Кто говорит первый? А, все равно, давай ты.

— Я не знаю... вначале была не я... я не могу вспомнить.

— Что значит вначале? Начала никто не помнит. От вас и не требуется вспоминать с рождения. Что вспомнится. С любого момента.

— Как пили чай с баранками.

— Прекрасно! И с подробностями. В жизни важнее всего подробности. В искусстве, как вас учили, тоже.

— Баранки нам раздавали в столовой. Я любила оставлять их уже после чая, напоследок. Больше всего хотелось свою унести с собой, но я боялась, что отберут.

— Хорошо! Деталей не упускать.

— Они были с маком. Черные крупинки на глянцевой корочке. Вкусней всего было выкусывать по отдельности каждую маковинку вместе с островком этой корочки и потом долго-долго разжевывать, размягчать на языке и зубами, в сладкой слюне. Искусство было в том, чтобы продлить наслаждение.

— Вот так и пойдет, вот так и зацепится.

- Можно еще вставить про сушки.
- Сушки — это к пиву.
- Смотря какие. Бывают соленые.
- Рубль двадцать килограмм стоили.
- По старым ценам.
- А бутылка тридцать шесть копеек.
- Вместе с бутылкой.
- На сушках соль крупичками, языком тоже очень приятно трогать.
- Да, вот так начини — найдется чего вспомнить.
- Он говорил: это называется мгновения жизни.
- Кто говорил?
- Ну, этот... который должен был говорить.

Почему они оглянулись все на меня? Я молчал в растерянности.

— Ничего, ничего, так пойдет. — Возбужденный, немного словно даже просительный шепот щекотал мне теперь откуда-то сзади самое ухо. — Уже закрутилось! Давать свет, как вы считаете?

Я обернулся... Темный, теряющийся в глубине амфитеатр вокруг был, оказывается, уже заполнен зрителями. Белеющие, неразличимые, как пятна, лица поднимались рядами. Я не заметил, я упустил момент, когда это произошло. Значит, действие уже шло, я оказался среди других на сцене, не понимая роли, не зная слов, и не мог теперь убежать, чтобы не подвести этих странных, словно угасающих бедолаг, которые непонятным образом зависели, может, от моего присутствия. Я должен был снова о чем-то догадываться сам, что-то спасти, на сцене или в собственном мозгу, который напряженно искал выхода или разрешения... не просто для меня, для других, получалось, тоже... Вспыхнули, ослепив, софиты. Полотнище задника уже развернуто было в синее небо, зеленая листва и белые колонны отражались в водяной глади. По симпатичному озеру плавали, как на коврике, лебеди. Стало видно, что пудра на лицах стоявших слиплась от пота комками. Сквозь нее синели болезненные подглазные мешки. Глаза смотрели, точно из прорезей: слезящиеся кровяные прожилки, усталость, недоумение и растерянность... У одного ресницы были совсем слеплены гноем. Он стоял поодаль от прочих, беспомощно, как слепой, вскинув подбородок и выставив перед собой непонимающие пальцы...

- Говорил, не говорил.
- Что было, то было.
- Я как-то пробовал даже подсчитать.
- Что?
- Мгновения жизни. Или, правильнее сказать, количество секунд. Мгновение — это ведь что-то слишком неопределенное. А так умножаешь число лет на число дней, часов, минут — ну и так далее...
- И что получилось?
- Какая-то чудовищная цифра.

- Чудовищно большая или чудовищно маленькая?
- Смотря как считать: только прошедшее или все вместе.
- Что значит вместе?
- Вместе с предполагаемыми мгновениями.
- Как будто можно предположить.
- Все равно бессмысленный подсчет. Мгновения жизни и секунды времени нельзя считать одинаково.
- И что из того?
- Как ни судить, а что было, то было.
- Тем более, если вспомнишь.
- Можно считать, жизнь состоялась.
- А много ли нам было надо? Парусиновые тапочки зубным порошком начистишь — и хорошо.
- Зимой в резиновых ботиках. Мороз — подметки жжет. А мы смеялись.
- Идешь и флажком машешь.
- На демонстрации,
- Праздники были особенно замечательные.
- Или еще выборы.
- Пивом угощали бесплатно.
- С сушками.
- На ужин даже пирожные давали. С белым кремом внутри.
- Генерал приходил поздравлять.
- Мне знамя доверяли держать.
- Танцы были под радиолу.
- Тяжелое, бархатное, еле в руках удержишь. С портретом и буквами.
- Особенно когда разрешили танго.
- Какие буквы, не помню.
- Как он меня обнимал!
- Я вообще был не как другие. Воспитатель говорил всем: выблядки. Вас еще в утробе травили. А мне говорил: твой отец жизнь за родину отдал.
- Это сперва только мысль была, что он меня изнасиловал. Со злости. На самом деле оказалась любовь. Вполне можно так сказать. Я только не сразу почувствовала. Слишком показалось обидно: такой плюгавенький, ниже меня. Но потом присмотрелась...
- По-всякому бывает.
- А дочка родная, представляешь, мне говорит: ты, старый дурак, жизни не видел, иди из моего дома и не воняй. Я только успел сказать: как же, говорю, не видел? А что же я видел?
- Что видел, то и жизнь.
- Можно считать так.
- Если, конечно, ты не слепой.
- Но мне говорят, это временно. Говорят, есть такая трава, настой промывает глаза. В одном журнале написано...

Чей это был голос? Слепые, склеенные гноем глаза уставлены в мою сторону.

— Я вообще лекарствам не доверяю. Только природные средства.

— Надо попробовать, раз говорят.

— Мне обещали.

— Всем обещали.

— А может и само пройти. Вот как меня перед самым концом службы вызывают к полковнику, секретное, говорят, задание. В чем секретность, не объясняют, потом я только догадался. Садись, говорят, на этом пригорке, закрой глаза и без команды не открывай. А больше от тебя ничего не требуется. Только расскажешь потом, что было.

— С закрытыми?

— Еще бы и с открытыми! Вначале, говорят, конечно, можешь ослепнуть, но потом должно пройти. В интересах науки, Родины и всего человечества. Тем более приказы не обсуждаются.

— Я в пароходстве тоже считалась военнообязанной. Костюм выдали с пуговицами. Фуражку с капустой. Матросы на улице мне козыряли...

— Ну, а потом что?

— Потом, видишь, прошло. Зрение почти вернулось.

— Нет, а до этого?

— Секретные испытания, неужели не ясно? Не то что через глаза, через череп свет прожигал.

— Это верно, мы себя никогда не жалели.

— Не то что нынешние.

— За обещание вкалывали.

— За палочки на трудовень.

— Нынешним не понять.

— А ты понимаешь?

— Какая теперь разница.

— Детей жалко.

— У кого они есть.

— А лучше не надо.

— Вот и она говорит: пошел, говорит, из дома, старый дурак. Как будто мне есть, куда идти.

— Но мне обещали, что я еще увижу.

— Теперь жди.

— В случае правильного поведения.

— Я лично их не просил.

— Как будто нас спрашивали.

— Но хоть бы напоследок.

— И что это изменит?

— В каком смысле?

— В этом самом, последнем.

— Не понимаю...

Колесики запущенного было механизма, проскрипев, шевельнулись последний раз и снова замерли.

Тишина, усиленная акустикой.

— Ну!.. Что же вы? — Человек в черном посылал от дальней кулисы отчаянные знаки, умоляюще поднимал брови — теперь уже ясно было, что это он мне. Как будто от меня что-то требовалось, какая-то помощь или подсказка. Наверное, надо было что-то сказать.... какие-то правильные слова?..

— Сейчас...

Мне показалось, я лишь попробовал сглотнуть мешавший в горле комок, — но голос из-за кулис усилил звук:

— Он говорит: сейчас.

— Да... — мне казалось, что губы мои шевелятся беззвучно, но голос раздавался громко и внятно. — Я попробую.

— Он сказал, что еще попробует, — разнеслось по пространству сцены.

Слабый трепет, как шум листвы, благодарный отклик не на слова — на что-то внутри мысли.

— Значит, он все-таки с нами.

— Надо еще попытаться.

— Раз он обещает.

— Это конечно.

— Если он говорит.

— Думаете, от него зависит.

— Но разве нельзя по-другому.

— Глядишь, еще и получится.

— В другой раз.

— Если дадут.

— Надежда всегда должна быть.

— В том-то и хитрость.

— Раз говорят.

— Не первый раз.

— Все можно поправить.

— Преодолеть.

— Несмотря ни на что.

— У всех бывает.

— Если построить по законам разума.

— Он говорил: добра.

— Или тем более красоты.

— Непоправимого не бывает.

- А если бывает, то не с нами.
- Хорошо сказано.
- Нельзя же в самом деле так просто.

— Великолепно, великолепно! — ликовал голос уже у самого моего уха, но я больше на него не оглядывался, я смотрел, не отрываясь, на беспомощную фигуру в балахоне, с забеленным лицом, с гнойным колтуном на ресницах... дрожащие слепые пальцы ожидали звука моего голоса. — Пускать музыку, да?

Захрипело поначалу со скрипом и вздохами, как будто перемалывался песок. Фигуры на сцене напряглись, потом шевельнулись.

— Крутитесь, крутитесь! — суфлировал, подстегивал громкий шепот. — Раз уж пошло, нельзя останавливаться! Надо, чтобы крутилось...

Сдвинулись, дернулись, закружились, вспоминая движения неуверенного, незамысловатого танца. Поднимались руки, открывались рты, не совпадая с механическим бодрым ритмом. Обрывки чужих грохочущих слов раскатывались внутри головы.

- А было время.
- По старым ценам
- Не все так просто.
- Еще вернется.
- И там не лучше.
- Повсюду люди.
- На всех не хватит.
- Пиши пропало.
- Бывает хуже.
- Потомки скажут.
- За что боролись?
- За тех, кто в море!
- Подумать только!
- Пароль и отзыв.
- Навстречу жизни.
- Сильнее смерти,
- Какое небо!
- Вот это счастье!
- И жизнь прекрасна!

19. Пробуждение

Когда я заснул, когда проснулся — и просыпался ли вообще? Урчит автобусный мотор, мягкое сиденье подо мной подрагивает, но чувства движения нет — редкие перемещения фонарных отсветов по черному, пупырчато непро-

зрачному от дождевых капель стеклу кажутся имитированными, как в кино. Мы никуда не движемся, мы трясемся на одном месте неизвестно как долго и как будто не собираемся двигаться, но никто об этом не волнуется, не задает вопросов, словно так и должно быть, поэтому и я не спрашиваю, я снова прикрываю глаза, изображая спокойную дремоту. Мне не хочется двигаться, не в моей воле что-нибудь сдвинуть. И зачем? Тепло, спокойно. Как в детстве, сладко пахнет теплым бензином. Желудок на удивление умиротворен, хотя я с утра ничего не ел... ничего, если не считать таблетки или конфеты, которой угостил меня из жестяной баночки уже в автобусе Виктор Фомич. «Возьми, возьми, — поощрил он. — Тебе теперь положено, как участнику. Маленькая, а лучше всякого бутерброда, попробуй. Последняя новинка производства». Я не вникал в его слова, во всем теле было усталое безразличие, но в животе вдруг действительно засосало. Это была круглая, обсахаренная горошина; я чуть раздавил ее зубами и сглотнул прежде, чем распознал вкус мягкой начинки. Обошлось однако даже без спазма. «Что, первый раз в театре? — усмехался Фомич со снисходительным добродушием ветерана. — Ну, ничего. Правильно все понял. Главное, чтоб людей удовлетворить, а не наоборот, верно?»

Удивительно было это чувство насыщения от маленькой горошины. Насыщения и умиротворенности... Сквозь дремотный теплый шум мотора стали доноситься голоса: женщина пыталась что-то объяснить контролерам. Они, оказывается, успели войти через переднюю дверь. Укол знакомой тревоги... хотя ведь на сей-то раз у меня билет есть. Должен быть, не у меня, так у моего спутника-хранителя, он в случае чего все предьявит, мне даже просыпаться не надо. Чувство укрытости во сне, более надежном, чем свой. «Да что мне ваш билет! — скучал служебный мужской голос от превосходства своего официального права. — Я у вас пропуск спрашиваю. Сюда же без пропуска нельзя, вам же который раз сказано». Ах, вот оно что!.. не в билете одно дело. Еще и пропуск. А есть ли у меня? Или мне не нужен? Я здесь... как это говорят? — прописан. Я здесь свой, мне не о чем волноваться. Хорошо хоть в чем-то оказаться своим. На всех не хватит. Мой хранитель спокойно сопел рядом. Значит, все в порядке. Если что, он сам про меня скажет, они с контролерами друг друга поймут. Да его и не спросят, его и будить не станут, они... как это называется? — из одной системы. Он мне сам вместо пропуска. «Но куда же мне назад? Мне некуда. Я же с ребенком! Я к мужу еду! — в голосе слышится попытка уже не доказать, а разжалобить (я все еще ее не вижу и не стараюсь увидеть, не стараюсь даже разлепить веки). — Вот, письмо от него». — «И письмо почитаем, — пообещал носитель власти с зевающим звуком. — И какие при вас еще бумаги. Только давайте скорей, по-хорошему, не задерживайте машину. Пассажирам же ехать надо». Теперь можно было не сомневаться, что мы все-таки стоим, двигатель работает на холостых оборотах. Сколько еще так стоять? Никто не подает голоса, никто не хочет привлечь внимания, и это понятно. Может, не у всех есть пропуск, не все уверены в своем праве продолжать поездку в наш город; даже удачно, что контролеры задержались с бедняжкой. Глядишь, до нас и не доберутся.

Не хватит времени. Но сколько же можно стоять? Конечно, ей не повезло, но формально они правы, тут нечего спорить. Сама виновата. Этак все бы сюда... «Что вы делаете? — вскрикнула вдруг женщина. — Отдайте!» Контролер с топотом пробежал мимо меня, как тень, разросшаяся до потолка; к груди он прижимал одеяльный сверток. «Отдайте ребенка! — кричала женщина. — Куда вы его уносите? Мы к мужу...» Голос пронесся мимо, затихая... Колечко по каменным плитам... Какой ребенок, какой муж?... что я, в самом деле... Двери захлопнулись, мотор взвыл уже деловито.

Как прекрасны подвижные, переливчатые лучики света в непрозрачных капельках влаги на окне, на кончиках полусмеженных ресниц! Не надо открывать до конца глаз, даже когда тебе толчком в бок дают понять, что пора выходить. Все и так видно. Салон автобуса освещен слабым уютным светом. Тепло. Пассажиры дремлют. Ближняя дверь закрыта, надо пройти через гармошку перехода в другой салон. Здесь светлее, большинство уже не спит, кто-то завтракает или ужинает, развернув на коленях или на откидных столиках промасленные пакеты с бутербродами, крутыми яйцами, помидорами; у кого-то и термосы, и стаканчики. Чем дальше, тем оживленнее: ребенок сидит на горшке прямо у ног взрослых, обнаружился умывальник с краном. Генеральша в сиреновом халате с лилиями обернула ко мне лицо, зубная щетка внутри рта оттопыривает щеку. Охранник поторопил легким толчком в спину, дверь уже открыта, я чуть не споткнулся о ступеньку. Виктор Фомич сунул ключ в скважину, зажег в прихожей свет, как хозяин, снял плащ...

За время нашего отсутствия его имущество успело еще прирасти: к фанерным и картонным коробам, мешкам и баулам прибавилась громадная оцинкованная канистра. Охранник примерился ее наклонить и чуть прокатил на ребре. Галифе на заду угрожающе напряглись.

— Тяжелая, черт! — сказал с удовлетворением и прошелся вокруг своих богатств, чтобы обмерить еще и ногами. — Попробуй, двинь! А? Как все увозить буду? Ничего, своя ноша не тянет. Постоит еще, правильно? Я, может, уезжать-то пока не собираюсь. А? Чем мне здесь плохо?

Поглядел исподлобья на маму: дошел ли до нее юмор? Мама стояла у входа в нашу с ней комнату, прямая, какая-то напряженная, придерживая за спиной ручку закрытой двери. Я не сразу отметил, что она одета не по-домашнему торжественно: воротничок темно-зеленого платья сколот у горла янтарной брошью — последним непроданным украшением; губы подкрашены, щеки припудрены, как будто не мы, а она вернулась из театра или собралась куда-то.

— Ладно, это я так, — дал тот отбой. — Накрой-ка на стол, хозяйка. Надо отметить прибавку. В магазин уже поздно? Ничего, Виктор Фомич запасливый. У Виктора Фомича все есть. — Наклоняясь, извлек из сумки, из каких-то глубинных закровов бутылку, передал — рукой за спину — мне. — Поставь. А этого, из канистры, хотите попробовать? Знаете, что там? — Обернулся, прищурил с видом хитрого заговорщика бровь. — То-то. Не сомневайтесь, у меня без подме-

ны. Кому положено, у того есть. Кто бы что ни говорил. И будет, если оправдаешь доверие. Это, конечно, между нами, не для разглашения. Как между своими. Вы мне, можно сказать, почти свои люди. Правильно я говорю? Можно считать, почти родственники... Ну, чего стоишь? Тащи миску, ложку побольше, стаканы ставь...

Он внес блюдо в комнату, не без торжественности приподняв перед собой. От кучи знакомого бурого цвета еще исходил, казалось, пар теплой свежести, как будто она только сейчас была произведена. Но запаха не было. В самом деле не было.

— Высшей очистки, — подтвердил довольный Фомич. — И вкус улучшенного качества. А там, глядишь, и цвет доведут. Уже обещано. Хотя цвет, по мне, дело десятое. Можно и не глядя есть. Правильно? Тем более: лучше качество — меньше количество. Ну, это не нам решать. Кому положено, все равно хватит. Только сперва надо выпить, правильно я считаю? Да садитесь же оба, чего стали, как гости.

Сам разлил в три стакана, тут же опрокинул свой, не заботясь о нас, крикнул, сразу побагровел.

— Смотрите, как Виктор Фомич жирует! — откинулся, довольный, на спинку стула. — Когда мой батя из деревни от голода убежал, я полтора месяца для семьи побирался. Не деньгами приносил — хлебными корками. Наберу мешок, сяду в укромном месте, по сортам разложу. Какие съедобные, какие с плесенью. Пока вы тут пирожки с икрой жрали. А теперь мои дочки, может, тоже хотели бы на пианинах играть? Справедливость соблюдать надо, как вы считаете? И пусть поиграют. Пусть ко мне сюда приедут, здесь поживут. А вам я на это время устрою, если желаете, досрочно свидание с папашей. На сколько захотите. В порядке культурного обмена. И всем хорошо. Познакомимся взаимно с достопримечательностями. Нельзя все время на одном месте, надо расширять кругозор. Как вы считаете? Все в наших руках. И жизнь испортить по-всякому. Хоть ларька лишить, хоть срок прибавить, хоть диагноз определить безнадежный. И наоборот... в смысле выписки или, там, освобождения. Все в наших руках...

Мама сидит прямо, не двигаясь. На щеках проступили красные пятна.

— Поживете с папашей в улучшенном бараке, — развивал перспективу Фомич. — Можно сказать, гостиница. Да хоть у меня на квартире, никакой разницы. И всем хорошо, а? Вам, может, уезжать не захочется. Природа, грибы. Работу найдем по специальности. Только и разницы, что колючка, так кому она мешает? Колючка везде, ее замечать перестаете. Элемент жизни. Я сюда ехал, в окно смотрел. Пол дня вдоль дороги — все заборы да она, родимая. За ней, опять же, природа лучше сохраняется. К нам как-то лектор приезжал, на антирелигиозные темы. Это ведь тоже можно правильно понимать. Что такое, например, был райский сад? Можно сказать, образцовая зона. Та же природа, полное обеспечение. Хотя, допустим, и без мяса. Одни овощи. Так это считается даже для здоровья полезнее. А что одежды у них не было — тоже ведь не мерз-

ли, не жаловались. Но главное, понимали: есть вещи, которые не полагается знать. Даже интересоваться. Если без допуска. Для собственного же блага. Чем было им плохо? Пока их этот сукин сын ползучий не соблазнил. Открыли обоим ворота, сказали: выметайтесь к такой-то матери, добывайте свою пайку трудовую как знаете. И в слезах уходили, есть даже такая репродукция. Стоят у вахты в чем мать родила и просят: пустите обратно...

Он сидел, откинувшись, против мамы, спиной к двери. Заплывшие глазки не сияли, а сочились наслаждением от полноты жизни. Но мама теперь смотрела куда-то мимо него — я еще не проследил направление ее взгляда...

— Ладно, это я так. Я насовсем сюда не собираюсь. Пока. А там посмотрим. Я вам, может, не сегодня-завтра одно золотое слово шепну. Ух, какое слово! Даже не догадываетесь. Ведь вы ничего, может, на самом деле не знаете. Может, твой мужик, допустим, уже рядом сидит, вон там? А? А я со своей стороны должен ждать, пока вы до ума дойдете, раньше нельзя. А куда опять же спешить? Надо, чтоб своим чередом созрело. Смотря по обстоятельствам. Как себя поведете. Ведь на чем, я вам скажу, жизнь строится? Во-первых, надо, чтоб впереди все время морковка болталась, без этого людей не удержать. А сзади чтоб страх оставался. Без этого тоже нельзя. Причем лучший-то страх не за себя. Мать это давно понимает, она жизнью учена. С учеными проще дело иметь. Ну, и сынок, я смотрю, помаленьку соображать начинает. Правильно уловил, чего от него требуется. Вам отсюда, может, не так это видно. Потому что мы стережем, чтоб держалось все, как положено. А чуть если ослабим, дадим щелочке-то расползтись... Да, тебе ведь, между прочим, еще письмишко...

Потянул из заднего кармана брюк мятый листок — еще несколько таких же вывалилось на пол. Я наклонился поднять. Тот же почерк, те же слова родственного обращения — и еще на одном, постороннем листке стандартный штамп заголовка: «Справка об освобождении». «Об освобождении» зачеркнуто, взамен сверху надписано канцелярскими лиловыми чернилами: «о смерти». Без даты, ее пока нет, ее еще предстоит проставить по усмотрению, как на всех этих письмах, заготовленных впрок, ожидающих дня, когда им позволят до вас дойти в порядке поощрения; за словом «диагноз» тоже пока лишь двоеточие, графа еще не заполнена, однако и это дело канцелярское, главное, фамилия, имя и отчество уже вписаны, пока что карандашом, похоже, чернильным, но от случайной или невидимой влаги значки местами уже становятся все более настоящими, уже набухают лиловым, расплываются на глазах...

Я поднял взгляд на маму, и лишь тут увидел тоже. В дверном проеме стояла старуха в складчатом, до полу, сером платье, в пенсне со шнурком. Должно быть, вышла из нашей комнаты.

— Ждать мне тебя или нет? — сказала недовольным скрипучим голосом.

— Слушай, сейчас бы музыку, — жмурился блаженно охранник. Он как будто успел коротко задремать и сейчас очнулся. — А? Есть у вас какой проигрыватель? Ну, интеллигенция!..

— Сейчас, — сказала мама и с трудом встала навстречу, опираясь обеими руками на стол и на спинку стула. — Сейчас... только ему объясню... Видишь, я ее все-таки нашла. Почти случайно. Мне давно говорили про какую-то гардеробщицу из Дома просвещения, которая умеет лечить особым способом. Я ведь только думала, что это у меня одной такое, с позвоночником. Никому даже не признавалась. Оказалось, это чуть ли не эпидемия. Врачи объяснить не могут. Непонятная ослабленность скелетной опоры. Ничего вроде с костями не происходит, анализы и все прочее объяснения не дают, а постепенно обмякаешь все больше, как кисель. И это, говорят, не только здесь. Не зависит от места жительства, от профессии, как говорится, от внешних факторов. То есть и не в отравлении дело, не в составе воздуха или воды... Как я сама раньше не поняла?..

— Да вот же, рояль стоит, — сообразил, наконец, охранник. — Кто на нем умеет? Вы не смотрите, что печать и пломба. Скажете, Виктор Фомич разрешил. Я разрешаю.

— Сейчас, — мама покачала опущенной головой. — Мне ведь и для себя надо объяснить... Ведь мне было лестно, что по крайней мере осанку я унаследовала. Если не знание шести языков — где уж нам... то хоть это. Осанку и гордость. Думать, что это гордость заставляет тебя держаться, гордость не позволяет ни о чем просить. Даже молиться. А в этой жизни держаться — значило прежде всего терпеть. Чем-то поступаться. Держаться — значило предавать. Иначе не выдержать. Сопротивляться — значило надломиться. Исчезнуть. Вот в чем оказалась ловушка... Может, я объясняю не теми словами, но причину оказалось нужно искать не просто внутри тела. Понимаешь? Нас ведь поддерживает не только этот бедный костяк. Всегда подразумевается еще и какая-то другая опора. Вроде хитинового панциря у насекомых — знаешь, который заменяет им позвоночник. Пусть это и не вполне научное объяснение... но эту внешнюю опору образует то, что всегда называли принципами, предубеждениями, правилами. Без чего, оказывается, тоже невозможно держаться. И когда эта опора слабеет, вся тяжесть сопротивления жизни переносится вовнутрь. Тогда позвоночник может не выдержать... Остается морковка и страх. И какое-то подобие скорлупы, видимой оболочки. Она ведь тоже подобие, — движением головы показала на фигуру в дверях. — Осанка, пенсне. Происхождение. — Покачала опущенной головой. Старуха смотрела невозмутимо, величественно, с легкой презрительной складкой в уголке губ. — Представляешь, она берется лечить особыми компрессами или корсетами из старой бумаги. Причем уверяет, что важно еще, какая бумага. То есть имеет значение, что на ней напечатано или написано. Суть в том, чтобы каждому подбирать свое. Но ведь кому-то помогает, вот что удивительно. Как прежде, бывало, клали на больное место бумажку с заговором. Хотя некоторым бывает достаточно и нательного крестика...

— Ну, чего же вы? — очнулся охранник от новой дремы. — Ладно, я сам.

Встал, пошатываясь, подошел к инструменту, рванул вверх крышку. Красная пломба шлепнулась на пол. Неожиданно сильный звук разросся перекатами удаляющегося обвала. Штукатурная пыль посыпалась с потолка.

— Ну, иди, чего привередничать. Все равно вопрос времени. Рано ли, поздно ли. Сперва поговорим, потанцуем, а там, глядишь, и столкнемся по-хорошему, любовно. — Он для начала покружился сам с собой, расставив руки для приглашающего объятия. — Сынок-то у тебя умеет играть? Ну хоть что-нибудь?..

И не дожидаясь, мимоходом ткнул пальцем в клавишу...

Самостоятельная дрожь прошла внутри инструмента. Струны, перенапрягшиеся, как нервы, от слишком долгого ожидания звука, будто уже отчаявшиеся зазвучать когда-нибудь под рукой людей, у которых не хватало на это решимости, вдруг словно не выдержали — их передернуло нервной судорогой, одна отчетливо сказала: «Была не была!» — и лопнула со звуком громкой пощечины. Охранника шатнуло от мамы к двери, к старухе — величественная фигура заколебалась в воздухе — и тут же хлестнуло обратно звуком второй струны. Рухнула на пол гора с коричневыми фаянсовыми скалами, воины в водительских очках, поднятых под козырьки шлемов, разломались на куски, медленные песчинки и камешки поднялись в воздух. Что-то треснуло под ногами, в основании дома, осыпью прокатилось по этажам, надломилось в костях, сместилось внутри головы. С силой хлопнула открывшаяся на сквозняке дверь. Все вокруг задержалось, задвигалось, точно в ускоренной киносъемке, охранник появлялся одновременно в разных местах, словно его носило сквозняком вместе с канистрой, ящиками, коробами, баулами...

Кто-то, видевший тебя, вздрогнул и поспешил проснуться, а ты все равно не можешь понять, где погас свет, вокруг или внутри глаз... и уже нету нигде мамы, и вместо мыслей в голове своевольничает усиленный посторонний голос, ворвавшийся внутрь черепа сквозь распахнутые окна.

20. Заклинание

Спокойствие, спокойствие; в сущности, не произошло ничего такого, чего не было и раньше. То же, что и всегда, не более: что-то стареет, портится, дает трещины, рушится, умирает, в конце концов; это входит в условия жизни, из этого она состоит, в ней нет ведь ничего вечного, как будто вы этого раньше не знали? Просто до поры до времени вас не касалось. Но иногда совпадения мелких сдвигов по хорошо известным законам научного знания накладываются и дают чересчур усиленный резонанс. По предварительным сведениям обвали-

лась будто бы комбинатская труба, но эта информация еще проверяется. Во всяком случае не более того. Кстати, эта труба в последнее время и так не функционировала, между прочим, к общему удовольствию жителей, которым она отравляла воздух. Так что ее, может, и восстанавливать не следует. Вообще происшедшее относится прежде всего к Зоне и нас затрагивает лишь косвенно. В частности, оказалась нарушена работа электроподстанции, по этой причине и ни по какой другой возникли, как видите, временные неполадки с энергоснабжением, но, как вы также видите, верней, в данном случае слышите, остались резервные источники питания, по крайней мере функционирует радиопередатчик, мы будем держать вас в курсе событий. Что до сведений о жертвах, точнее, о пропавших без вести, то, во-первых, они еще не подтверждены, и причины могут быть разные, вовсе не связанные с происшедшим. Сообщают, например, историю, когда женщина в состоянии умственного неблагополучия ушла из дому и не вернулась. Бывает. Выражаем сочувствие родственникам и близким. Телефон службы розыска 19 25. Может, еще найдется. Во-вторых, это касается не вас, а лишь тех, кого касается. Но главное, что тут опять же нового, чрезвычайного? Разве такое не случалось всегда? Оттенок, может, только в статистике. Какой-то предел нормы желательно не превышать, да он пока и не превышен. Но ведь и этот предел — вещь условная, нормы неизбежно пересматриваются в свете данных нового времени. Оно уже приучило нас к другим цифрам. Зато меньше будет теперь травм на производстве. Главное же: наконец разрядка и ясность. Куда тягостней неопределенные ожидания и страхи, не правда ли? О чем вообще разговор? О возможности сотрясения земли в нашей равнинной местности? Так ведь и в этом ничего нового, это известно науке, это можно считать издержками растущей человеческой деятельности, в результате которой иногда происходит перемещение подземных вод, газов, слоев, образуются непредвиденные пустоты, аномалии и все такое. Ну, разве что теперь еще какой-то астролог дополнительно подтвердил, что катаклизм может произойти конкретно в одну из ближайших ночей. Можно, разумеется, пропустить подобные предупреждения мимо ушей, как делали прежде, верней даже вовсе не доводить их до общего слуха. Можно и самих предсказателей изолировать, как тоже, увы, случилось в прошлом. Но раз слово уже прозвучало, лучше его не замалчивать; опыт показал, что спокойствия это не прибавляет, наоборот. Тем более, что по новым опять же научным данным к показаниям звезд имеет смысл иногда прислушиваться. В конце концов, даже самая положительная наука не отрицает в мироздании неясных, еще не изученных связей. Наши предки тоже были не совсем дураки, относясь к таким предсказаниям всерьез. Это доказано хотя бы тем, что жизнь пока продолжается, а как получится после нас, еще, между прочим, вопрос. Осторожность на всякий случай не помешает, бережного Бог бережет, это, как вы знаете, тоже народная мудрость. Да что вы, в самом деле, — продолжал увещевать голос уже сорвавшихся с места людей, исподволь подключая к словам бодрящую музыку, все звучнее, все громче, и принося в свой тон все больше успокоительной иронии; он проникал не только внутрь жилья, но сквозь кости головы, помимо ушей; чтобы он дошел до всех,

даже до тех, кто не включил в этот час домашнего прибора, его позаботились сделать помощней и, пожалуй, несколько перестарались — не только потому, что чрезмерная громкость вызвала дополнительные осыпи и обвалы: в первый момент она перебила доверительность смягченной юмором, ничего не утверждающей интонации; многие, не вникая в содержание, выскочили на улицу сразу кто в чем был, и лишь потом, осознав заблаговременность предупреждения, стали возвращаться домой, чтобы одеться уже как следует, прихватить необходимое на ближайшие часы, во всяком случае, для ночной жизни детей, а голос продолжал звучать, он звучал неумолчно, шумел, пузырился, лопался, не оставляя места для тревог собственной мысли, пока люди выносили детские коляски и кровати, выносили горшки и одеяла, кастрюльки с только что доваренной манной кашей, а заодно и тарелки, выносили больных и парализованных вместе с кроватями, выносили птиц вместе с клетками и рыб вместе с аквариумами, выводили собак, тащили цыганские узлы, корзины и чемоданы, деньги и документы и особо дорогие предметы, семейные реликвии вместе с воспоминаниями — жизнь, скрываемая обычно за перегородками от постороннего глаза, вываливалась наружу, точно теплые внутренности, со всем своим кишечным и прочим содержимым, калеками и маразматиками, разновозрастными уродами, плодами алкогольных зачатий; застоялые запахи разносились слабым ветерком и растворялись в открытом пространстве, — да что вы, в самом деле, — барабанил по костям головы, как легкий град, все тот же неумолкающий, невыключаемый голос, лопался бредовыми газированными пузырьками, — в конце концов даже хорошо, даже приятно провести несколько вечеров, ну пусть и ночных часов на свежем — в самом деле достаточно свежем воздухе. Устраивайтесь поудобнее во дворах и скверах, разводите в подходящих местах костры, разогревайте прерванный ужин. Складывайте запасы, выставьте бутылки, наконец. И не надо стесняться друг друга. Глядишь, после первой неловкости, какая неизбежна вначале, когда, скажем, раздеваешься при других, даже на пляже, тем более если тебе нечем особенно гордиться ни в смысле фигуры, ни в смысле белья или, там, купального костюма, возникнет чувство освобождающей раскованности, когда вид чужих тел, домашних халатов становится привычен, как собственный, температура взглядов и самочувствий выравнивается и люди лучше могут ощутить других как себя. Не это ли чувство воспитывалось когда-то в бомбоубежищах, в лагерных бараках, в общежитиях и на коммунальных кухнях? Его многие успели забыть в стенах обособленных квартир — и может быть, напрасно? Может, это отнюдь не способствует трезвому пониманию жизни, да и сознанию природной человеческой общности, когда исчезают все больше перегородки различий, имущественных, сословных, национальных. Что мы вам действительно можем гарантировать, так это ясную погоду. Пора тяготных дождей миновала, во всяком случае на ближайшие часы, да пожалуй, и дни их не предвидится, до такой-то степени мы все же способны заглянуть вперед. Защитный слой атмосферы над нашим полушарием еще держится, можно пока жить дальше. А там, глядишь, если не решения руководства (которое, к слову, уже собралось обсуждать ближайшие

меры), то привычка, время и самостоятельный ход вещей подскажут дальнейшее. Не в первый раз. Может, все еще обойдется. Может, в этом даже окажется свой смысл. В самом деле, посмотрите вокруг, вот, вы уже убедились, ничего такого уж необычного, ничего страшного, можно, оказывается, жить и так. А может, все даже обернется и к лучшему, новым жизненным опытом, духовным приобретением. В жизни без кризисов и даже катастроф не бывает. Более того, есть также весьма авторитетное мнение, что они для чего-то необходимы как элемент человеческого существования — может, для здорового исторического саморазвития. Без них мы бы не замечали, не осознавали бы происходящего с нами, довольствуясь равномерным повторением солнечного кругооборота, в застойном спокойствии, которое, как утверждают некоторые философы, выхолащивает жизнь. Нарочно такого не накликают, но раз уж так сложилось, надо через это пройти. Надо увидеть мир без иллюзий, надо назвать своими именами все — даже страшное, трагическое и бессмысленное. Рано или поздно, только вдруг до сознания доходит, что мы живем в неуютном мире; пора научиться жить с этим чувством. Можно считать его даже нормальным для современного человека. Повторяю, это именно облегчение — когда смутные тревоги приобретают форму отчетливых и понятных слов. Смешно, в самом деле, обманывать себя надежностью стен, если все они проницаемы для нечувствительных, неизвестных нам лучей: а ведь так было всю жизнь, мы просто не знали этого. Что, в конце концов, за вздор — скрывать строительный брак. Если уж на то пошло, ведь и он был всегда. И воровство, и ошибки в проектах, и трещины по стенам, и фундаменты оседали. Так ведь и стихийные катастрофы для человечества не новость. У нас нет над ними власти, но и эти раны зализываются, мертвецов хоронят, развалины расчищают, строят на них новую жизнь. Правда, замечено, что в последние десятилетия число стихийных, именно стихийных катаклизмов почему-то все более возрастает. Словно кто-то подает нам знак, что сдвигается некое не совсем понятное нам равновесие. Тем полезней вовремя прислушаться, вникнуть в предупредительный сигнал. Еще не поздно. Вот что существенно. Если угодно, в происходящем можно увидеть даже некий более высокий смысл. Не всем дается такое переживание. Сумеет же оказаться достойными его, проникнемся значительностью каждого дарованного нам мгновения. Мы так нетерпеливы, так привыкли все торопить: взросление, час свидания, осуществление замысла, приход поезда, отъезд и конец дороги — в сущности, торопим саму жизнь; как будто крохотная черточка между двумя датами на могильном камне кажется нам невыносимо растянутой. Все кончится само собой, так или иначе, уверяем вас. Мы не можем знать изнутри направления жизни, но уж о таких-то вещах догадываемся — и так ли уж это важно, в конце-то концов, если нам сейчас, прежде финала, дано ощутить возбуждение, похожее на счастье? Таким возбуждением бывают охвачены птицы в предчувствии перелета, особенно те, кто еще никогда не летал, хотя для многих он обернется гибелью; но рядом с этим чувством гаснут повседневные заботы и счеты. Тем, кто постарше, может, вспомнится ожидание войны, пора недостоверных предчувствий и знамений. Не испытавшие этого, право же, чего-то не знают о жизни. Ощутите себя среди

мироздания, лишь временно отгороженного до сих пор от ваших тел не вечными, в самом деле, стенами. Ощутите жизнь как отсрочку — и забытые, освежающие пузырьки в крови, и щекочущую остроту угрозы; услышите биение пульса внутри собственных тел. Однако при всем том не будем упускать из виду главного: катастрофа отнюдь не фатальна, по каким бы данным суеверия или науки она ни была предсказана. Существует мнение, что даже стихийные катаклизмы можно предупредить внутренним усилием, если оно достаточно мощно. Иначе говоря, сопротивляющееся духовное усилие совокупности людей способно превозмочь, опровергнуть даже силу геологических стихий. И наоборот, мы накликаем и усугубляем угрозу собственной вялостью, ложью, жадностью, завистью, злобой, безнравственностью. Есть во всяком случае и такая гипотеза, что, может, не случайно природное неблагополучие совпадает со вспышкой недобрых страстей. Пусть этой ночью каждый в отдельности и все вместе скажут себе искренне и проникновенно: да, я лгал, я терпел и молчал, я соучаствовал, я поджигал газеты в почтовых ящиках, но, может, теперь я постараюсь стать другим. Я этого хочу. Даже научные прогнозы сбываются не всегда, а тут вообще неизвестно что, не обязательно верить. Вдруг это на самом деле произведет воздействие — если все разом? А? Попробуем собрать в один пучок свою добрую волю, лучшие чувства, скажем: нет, не будет никакого сотрясения земли, мы этого не хотим, не допустим — скажем мысленно, не обязательно вслух, но совокупно и, главное, с прочувствованным, страстным убеждением: не хотим, не допустим — и глядишь, угроза рассосется, развеется. Давайте в самом деле все вместе, разом, попробуем вспомнить и ощутить все лучшее и доброе в себе, в жизни: детей, цветы, любовь к животным, творческие страдания, романтический секс... что еще?... общественные надежды. Воспользуемся стихийной возможностью, обновим застоявшуюся жизнь и самих себя. Быть может, за этим перевалом ждет нас новое небо и новая земля. Быть может, то, что нас ждет впереди, называется свободой, Она, говорят, всегда пугает, но надо через это пройти, чтобы жизнь обновилась. Надо попробовать. Ведь в самом деле, смотрите, ничего, оказывается, такого уж страшного, вы бы, может, и не догадались об угрозе, если бы вам не сказали... А, вот тут еще попутно просят передать объявление: Изобретатель Системы Кольцевых Поселений вокруг Земли проводит демонстрацию готовых моделей, а также запись в акционерное общество. Предлагаются к утверждению герб, флаг, текст Конституции, образцы почтовых марок, устав таможенной службы и положение о вступительных взносах. Сбор на площади у бывшего памятника. Там же, добавим, будет играть духовой оркестр. Интересной вам ночи, дорогие сограждане! Разрешите детям не спать, не каждую ночь такое бывает. Слушайте музыку! Боже, да это же в конце концов праздник! Принюхайтесь, как сладко пахнет ночной свежестью, дымком костров, варевом из кастрюль, жарящимся мясом. Ночные мотыльки слетаются на свет. Влюбленные пары, наоборот, уходят от света подальше. Вот где-то начинаются общие танцы. Вот художник выносит на обозрение свои картины, годами скрытые от посторонних глаз. Молодежь гуляет с гитарами. Время от времени кто-то еще навевается в жилье, ненадолго, набегаями, как Робинзон к

севшему на риф кораблю, чтобы забрать, покуда не затонул, необходимое для ближайшей жизни: банку с сахаром или крупой, одеяло или нож. Следует напомнить, однако, об осторожности. Имеется в виду не только угроза толчков и обвалов: поступают сигналы, что в домах уже кто-то хозяйничает, пользуясь темнотой. Кому-то она, видимо, на руку, темнота, кто-то даже явно усугубляет ее нарочно, заливает из темноты костры, бьет фонари и фары автомобилей, швыряет камнями в любой огонек, в спичку, поднесенную к сигарете, в лучик фонарика. Есть основания думать, что это не просто наше хулиганье, это вообще не наши. Это те, кто проникает к нам через разрушенные ограждения и уже сумел раствориться среди нас. Чего нам теперь, если угодно, действительно не хватает, так это объединяющего и здорового чувства бдительности. Необходимо заново осознать, что враг существует на самом деле, он никуда и не исчезал. Расслабляться опасно. Надо ли пояснять, о ком речь. Этим выродкам, которые еще недавно кичились превосходством своих возможностей, теперь нечего терять, и потому они особенно опасны. Они ведь из любой нашей беды всегда умели извлекать выгоду. Главная их опасность в том, что при внешнем сходстве их не так просто распознать. Существуют, однако, способы проверки, о которых вас проинструктируют на местах. И если кого выявите — действуйте безо всякой пощады, без ложного гуманизма! Чтобы в другой раз знали, чтоб больше не покушались, чтобы на всю жизнь, гады, запомнили. Надо же себя защищать, сопротивляться, обеспечивать жизнь себе и потомству, это в нас заложено от природы...

21. Точка безумия

Оборвалось, продолжает рваться, белые светящиеся концы шевелятся в темноте, на дне бесполезных, беспомощных глазных яблок, у самого мозга, не могут соединиться.

Мама! Где мама? Мне надо было ее найти. Я потерял ее или потерялся сам. Я не понял, не помнил, в какой миг и как она исчезла, наряженная точно для торжества, растворилась, как в детском страхе, в обрушившейся темноте — все в ней смешалось, спуталось, закрылось для понимания и для глаз. Я не мог ее даже позвать, крикнуть, голос совсем уже не выбивался наружу, воздух его не принимал, не вмещал больше ничего, забитый сплошь чужим, но вылезавшим как будто все равно из меня, только не из горла, а прямо из болезненных щелей головы вместо собственных мыслей, они окончательно перестали мне подчиняться — тонкие, короткие, спутанные клубком обрывки выдавливались, расползались сами собой и заполняли непроницаемую черноту, бессмысленные слова растворялись в скрежете, хрипе и скрипе переродившейся музыки, а я блуждал наугад среди этой мучительной, навязчивой мешанины, тыкался из

темноты в темноту, не зная, где искать, только напоминая себе, что должен искать, мне надо было кого-то найти...

Шевелятся, дергаются яркие волосяные щупальца, никак не соединить их, не составить порядка и связи.

Слабый ореол, как воспоминание на исподе век. Внутри него накаляется все черней угол стены. Там во дворе костер. В багровых отсветах всклокоченные волосы, влажно блестящие выпученные глаза, жующие, зубастые, ослабленные, неузнаваемые рты, полужнакомые лица, изображенные на упаковочном картоне бородатым соседом-художником: он, наконец, в самом деле вынес, поспешил спасти из ненадежных, опасных стен единственную свою потайную ценность, и теперь смотрел бессильно, в растерянности и смущении, как создания его переходят из рук в руки, под пьяный гогот и похабные комментарии, смотрел, не понимая ропота совершающейся беды, не узнавая того, что возвращалось к нему. Словно что-то менялось там от чужих взглядов или перегарного дыхания, что-то происходило на открытом воздухе, в неверных отсветах близкого огня с самодельными красками, с миром, сотворенным из окружающего материала и трепетных снов, выписанные подробно одежды расплзались гнилыми неровными кружевами, на коже гладких румяных лиц проступали как бы пятна язв, поверхность шла мелкими гноящимися пузырьками, под ней открывались то ли воспаленные внутренности, то ли подмалевок первоначальной работы, очертания и фигуры, о которых, возможно, забыл или не подозревал сам художник (сквозь некоторые уже просвечивала пустая плоскость без горизонта). Распадалось и обнажалось то, что было так искусно и тщательно оформлено, упаковано в необходимую щадящую оболочку, чтобы взгляд мог остановиться, где нужно. Веселый оскал был вставленным в живое лицо протезом из прочного нетленного материала, а рот вокруг все заметней проваливался, и череп все чувствительней расплзался по трещащим кривым швам от крика и хрипа выполняющей, нарастающей боли, она продолжала выпирать из щелей и отверстий, подменяя музыку, заполняя гложущее пространство — музыканты на площади лишь надували щеки, изображая усилие игры, металл их инструментов размягчался и оплывал: звучали не они.

На площади, у подножья памятника. С постамента осыпались буквы, памятник забыл свое имя, призывная бронзовая рука его все явственней опускалась от долголетней усталой тяжести вещества и никуда теперь не указывала, скорей готовилась просить подаяния. Там танцевали, топтались кто во что горазд, пьянчуги с лицами знакомых сборщиков бутылок. Кружилась, выставив перед собой палку, выжившая из ума старуха в двух халатах разного цвета, лиловом поверх зеленого. Воняющий мочой бродяга, упершись руками в асфальт, пытался изобразить фигуру виртуозного брейка. Женщина с румянцем и черными губами пошла навстречу мне, радуясь встрече, кривляясь и приподнимая

в горстях, как приношение, голые груди, улыбка на ходу расплзалась вместе с лицом...

Но я уже успел спрятался опять в темноту.

В ту же или в другую? Какая была раньше, какая потом? Все было пере-мешано, копошились оборванные концы. Из темноты в темноту. Мне надо было найти маму, и не только ее, это я помнил; мне что-то надо было восстано-вить, вернуть. Я что-то сделал не так, с чем-то не сумел справиться, и вот она пропала, исчезла вместе с серой старухой, которая сумела так хитро проник-нуть в мой мозг, но оказалась подмененной, как библиотечные книги, она уне-сла маму на руках, словно похищенного ребенка, прямо сквозь осыпь стен, в не-проницаемое для света хранилище, где теперь не стало перегородки между бумагой, еще пытавшейся удержать последний членораздельный смысл, и зава-лами уже размягченного, как гибнущий мозг, вещества, только туда больше не было входа, он тоже был утрачен в темноте.

Почему стало вдруг так непроглядно? Ни обещанных звезд, ни неба над головой. Так темно не бывает. словно заволокло все пеленой без вкуса и запаха. Или что-то случилось с внутренностью глаз? Никак было все-таки не понять, открыты они или закрыты, никакой разницы. Дергаются волосяные электриче-ские козявки, не могут найти друг друга. За решеткой больничной ограды та-рахтел автомобильный движок, горела под деревьями переносная фара, крича-ла роженица; там кто-то, оказывается, еще старался... но нет, снова темно. Непонятно, в какую сторону идти, все стороны одинаковы. Стены вокруг лишь угадываются. Прежде создававшие чувство укрытости и защищенности, теперь, снаружи, они ощущались, как угроза; в их бетонном и каменном веществе про-явилась тяжесть, враждебная мягкой человеческой плоти.

Чья-то встречная рука дотрагивается до лица, дохнуло в рот перегаром и луком... — скорей в сторону, в спасительную темень, откуда вдруг выскакивал, заставляя отпрянуть вновь, хохот, хрип, визг, крик, детский плач, звон разбито-го стекла, хлопок то ли бутылочной пробки, то ли выстрела — не удавалось найти укрытие, его и не могло быть здесь, на поверхности, уже готова была про-тиснуться, выдавиться из головы, наконец, и эта догадка, потому что искать надо было на самом деле вход, кем-то нарочно закрытый, спрятанный...

Лучик фонаря полоснул по глазам, как опасное лезвие. Увернуться, швырнуть чем-нибудь. Свет страшной темноты. Пусть никто тебя не видит, и ты не хочешь видеть никого. Попасть, свалить, услышать звон разбитого стекла, вопль досады и боли... Какая радость, какое облегчение!.. еще бы ногой в пах, и в зубы носком ботинка... А? Ты, кажется, готов узнать эту радость?.. или еще не дошло?.. сейчас дойдет, до всех начинает доходить...

Словно кто-то нашептывает внутри уха. Тень голоса. Дерганье мыслей, и ничего с этим не поделать, и не понять, что пугает больше: то, что само собой протискивалось из головы, как сквозь отверстия мясорубки, вместе с распирающей болью наружу, чтобы расползтись, раствориться в черном пространстве, смешаться со скрипом и хрипом, войти в чужие умы, или то, что отзывалось в ответ, возникало, твердея, из темноты, чтобы произойти с тобой.

Лицо вдруг натывается на удар. Вспышка потрясения, как вспышка света, теплая жидкость в носу, липкое солоноватое течет по губам и по языку.

— Глянь, еще один... Ты кто?.. Говорить умеешь?

Горит автомобильная фара, вторая разбита. В открытом багажнике выставлено для обозрения привезенное тело. Ну вот, наконец-то одного захватили, выловили, не дали уйти. Вместо лица расползшееся, гнойно-красное, как на картинах художника Христофорова, а борода, как у него самого... нет, теперь уже не узнать, не удостовериться, кто это был в самом деле... Объясняющая все догадка вспыхнула вдруг мгновенно и ослепительно, только не получалось ничего сказать вслух, я не мог крикнуть, чтобы не трогали никого больше, все на самом деле просто, нужно только поскорей сдвинуться с места, вырваться из опустившегося на всех помрачения, а вход может открыться в любой момент сам собой где угодно, потому что в мире обнаружилась наконец кривизна, о которой прежде не умели или боялись догадываться — достаточно просто пойти по наружной поверхности, и поневоле окажешься внутри...

Липкое солоноватое течет по губам и по языку. Дергается, не может соединиться, перед глазами или в мозгу, который давно стал больше меня. Что вдруг случилось? Чей это топот нас настигает? Боль не просто внутри, а вокруг, крик, свист, плач, тебя тянет куда-то вместе со множеством тел — словно всасывает всех открывшейся впереди пустотой.

Сталкиваются друг с другом невидимые, слепые... Только бы не упасть — затопчут. Хотя уже и падать некуда. Тело не стиснуто — спрессовано с другими. Невозможно чувствовать себя отдельным, нет власти не только над направлением — над самим собой, над собственным дыханием, мыслями. Невозможно поднять руку, невозможно набрать в грудь воздуха для крика. Еще немного и задохнешься, но даже если в тебе вовсе не останется жизни, все равно тебя будет нести непонятно куда, зажав среди других таких же...

Негатив тишины — сплошной слитный крик, чернота — негатив сияния...

но тут кто-то с силой, последним рывком выдергивает меня за руку на свободу, как в пустоту.

22. Момент истины

Ну... куда тебя занесло, однако! Да что ж это, в самом деле... еще бы немного! Ты что ж это делаешь!.. э, не прикидывайся, будто не слышишь, не понимаешь. Будто это не к тебе. Разве так себя можно терять? И добро бы еще только себя. Не знаешь, что ли, как это бывает? Кто-то вдруг дернется, как идиот, сам не зная куда — и вдруг, глядишь, все за ним. Потому что знают еще меньше его. Но думают: раз кто-то впереди бежит, значит, хоть он знает. Нельзя же так... Понятно, когда такое стряслось, впору и не выдержать... но все-таки... Если для кого-то что-то кончается — разве же можно, чтобы для всех? Возьми себя в руки... Что, кровь все идет? Подыми лицо вверх, чтобы остановилась. — (И не вырваться, и не увидеть, кто это, и незачем, и бесполезно открывать глаза). — Досочинялся? Гуманист юродивый! Боже, надо же было напустить столько слюней! Собрать лучшие помыслы, перебороть катастрофу! Как ты себе это воображал? Рушатся стены, гремит ураган, вода разливается? Что-то такое стихийное и величественное? Да с этими бедствиями можно жить. Это входит в условие. Так наша планета устроена. Каждый месяц происходит что-нибудь в этом роде, если не каждый день. Всегда жили, и ничего. А можешь ли ты сказать, чем обернется вот это все? Думаешь, как в детстве: закрыл глаза, чтобы не видеть, потом открыл — и словно не бывало. А ты уверен, что к утру рассветет? Что завтра вообще наступит? Я всерьез спрашиваю. Или ты все еще надеешься проскочить на игре ума, на литературном воображении? Заслонить выдуманном страхом другой, настоящий? Заколдовать, заговорить? Не получилось. Не совладал. Выпустил, что называется, джина. И что дальше? А ведь было же сказано. Было или нет? Да не изображай все-таки из себя невоспринимающего, невменяемого, ты еще не совсем свихнулся. Это, к твоему сведению, тоже не так просто дается, тут надо еще другой предел перейти. То есть действительно прорваться куда-то, где нормальные мозги не выдерживают. Потому что они туда и не заходят. В последний миг потянет остановиться, замереть. Еще бы. Может, мы и держимся-то, и живем-то из трусости. Бережем себя, как Бог знает какое сокровище. Самое большее, на что нас хватает — прикрывать в меру способностей эту самую бездну, выстраивать над ней видимость порядка и разумности. Ведь нормальным-то мозгам нужны ответы, потому что безнадежных вопросов и не задают, им заранее страшно поражение. Только вдруг оказывается, что за трусость умственную и душевную, за иллюзию самосохранения приходится расплачиваться. И не только нам самим, вот в чем каверза. Мы просто не умеем осознать, какие нити протянуты от нас к другим — только задень... Кто-то придумывает формулу химического распада, а спустя поколения страна превращается в пустыню. Кто-то роет каналы, а потомки через тысячелетия расплачиваются наследственной болезнью крови, становятся на века отвержен-

ными среди других. Может, чья-то жизнь и даже спасение все еще зависят от незаметного усилия или сдвига твоей мысли, и если ты с нею не совладаешь, все вместе рухнет неизвестно в какой провал уже окончательно, непоправимо. Надеюсь, ты все-таки не станешь уверять, что тут ни при чем. Ни при чем только тот, кто уже не живет. И то еще неизвестно. Если б мы умели не жалеть себя, не боялись наконец, в самом деле прорваться, вспомнить то, чего никак всю жизнь не можем. Допустим, это еще не получалось ни у кого, но тебе-то уже ведь и поражения бояться нечего. Считай, ты его уже потерпел, разве не так? Тем более, ты теперь в самом деле остался один, да, да, зачем себя дальше обманывать, нагораживать вокруг неизвестно что. Жалеть уже некого и некому. Можно перестать, наконец, держаться за свой так называемый рассудок, много ли он тебе помог... может, лишь теперь-то, наконец, ты созрел, чтобы по-настоящему пройти действительно до самого что ни на есть конца, чтобы, наконец, понять, вспомнить... а я помогу. Есть способы. Это не так уж страшно. Дай-ка голову... Не напрягайся так, не дрожи... Не жалея себя хоть сейчас... тем более было сказано не помню где: чтобы по-настоящему что-то спасти, надо, может быть, сперва потерять... в точных словах не уверен... где это было написано?... то есть не просто рассудок, нет, тут именно себя целиком надо вывернуть наизнанку, а как, никто этого сказать на самом деле не в силах, ничьи премудрости ни для кого в таких делах не действительны, только через себя, через собственный предел, и дальше, главное чтоб именно дальше, а другим без тебя, глядишь, только лучше будет, согласишься, в самом деле, всем будет спокойнее... ведь не ради себя... кто же теперь, если не ты... ну... где твоя голова... не бойся... это совсем не больно...

23. Перемена сознания

Открыты у тебя глаза или закрыты.
Потрогай пальцами.
Все равно как во сне ущипнуть себя чтобы проверить.
Будет больно а ничего не доказано.
Или не будет.
Тоже не доказательство.
Но хотя бы понять.
Что.
Где.
Что где.
Где это.
Что это.
Какая разница.
Кто это говорит.

А кто слышит.
Одинаково бессмысленные вопросы.
Ни того ни другого.
Но слова каким-то образом существуют.
Допустим.
Тогда откуда их знаешь ты.
Кто ты.
Допустим тот кто еще существует в этих словах.
А не наоборот.
Вот именно.
Тогда откуда они берутся.
Это еще надо понять.
Зачем.
Лучше не надо.
Все равно измерений больше чем мы способны вместить.
Математическая гипотеза.
Ни доказать ни опровергнуть.
Какая разница.
Таких вещей знать нельзя.
И не надо.
Только то что вокруг.
Или внутри.
Но если там и там ничего.
А боль.
Как будто и боли нет.
Мы ничего не можем знать кроме существования.
Какое облегчение.
Что существует то мы и знаем. Несуществования мы знать не можем.
Зачем.
Слишком все оказывается внезапно вдруг.
Ничего теперь будут время.
Какое время.
Корень квадратный из времени со знаком минус.
Мнимая величина.
По старым ценам.
Отсутствие времени понять еще трудней чем время.
Тем более бесконечность. Бесконечность вообще невозможно представить.
Наоборот невозможно представить окончательность.
Если мерить сроками жизни.
А чем же еще.
Была гипотеза будто время понемногу теряет разгон. Замедляется как будто зацеплено за натянутую резинку и вот-вот замрет вовсе.
Это можно представить.

Но потом оно все равно незаметно вывернется наизнанку и начнет обратный разгон.

То есть прокрутится все назад.

Только в обратном порядке.

То есть встанем из ям и в обратный путь к материнской утробе чтобы там под конец рассосаться.

Это будет называться конец.

Бессмыслица наизнанку.

Или смысл.

О чем говорить с теми кто ни разу не умирал.

Чьи это слова.

Допустим когда-то они были даже твоими то есть возникли в тебе а вернее сказать через тебя ведь слишком большим самомнением было бы приписывать себе самостоятельную способность что-то рождать будь то слова или другую жизнь. Но теперь только они и существуют и допустим ты в них.

Каким образом.

Допустим их кто-то сейчас читает.

Кто.

Кто-то кто еще существует.

Каким образом.

Может даже благодаря тебе.

Если только вообразить.

Как будто можно существовать в чьем-то бреду.

А разве нет.

Может только там все и существует.

Какая разница.

Тогда откуда этот запах.

Какой запах.

Показалось.

Тем более кто может его чувствовать.

Допустим собака.

Какая собака.

Какая-то. Которая где-то осталась. Которая кого-то помнит. Допустим тебя.

То есть чей-то запах продолжает существовать пока остается собака которая его помнит.

Но вот же действительно.

Что значит действительно.

То что существует в памяти не называется существованием.

Или в словах.

Не имеет значения.

Тем более во сне.

Но что же тогда вот это.

Не обязательно выяснять.

Лучше не надо.
В любом случае не более чем отсрочка.
Рано или поздно забудут.
Можно не волноваться.
Помнить не так просто.
Тем более вспоминать.
Искусственное усилие.
Усилие искусства.
Естественно забывать.
Так же как умирать.
И наоборот.
Получается что жить искусственно.
В смысле усилия.
Там так и было написано.
Где.
Некому вспомнить.
Какое облегчение.
Но там было ведь... было.
Где.
Вот... Счет из прачечной... письмо не ко мне.
Не то.
Все перемешано... сейчас найду.
Тени голосов.
Протокол шестнадцатого пленума...
Кому это понадобилось.
Второго собора.
Похоже на слабые светляки.
Расписка на двести рублей.
По старым ценам.
Могут ли голоса светиться.
Не успел расквитаться.
Все больше.
Но ничего не освещают.
Зачем тогда все.
Там было написано: разум, справедливость и Бог.
Господи что же это опять.
Как будто возвращается в тело боль.
В чье тело.
Сынок.
Откуда это.
Я не вижу тебя сынок.
Боль и страх.
Зачем же опять.
Словно куда-то тянет.

Вещество тоски.
И этого не сумел.
Надвигаются обступают теснят.
Пальцы упираются в пыльное твердое плоское.
Что это.
Ладонь пронзает электрическим холодом.
В полосе освобожденной от пыли очертания слабые как намек.
Не прорваться не убежать.
Глаза из темной глубины.
Сквозь щеку просвечивают огоньки.
Ну что же ты.
С той стороны.
Вспомнил.
Только прижаться.
Вжаться.
Руку втягивает вглубь твердой преграды обдирает кожу невыносимой болью.
Лоб коснувшийся лба сливается с самим собой.
Тянет внутренности из живота тянет из черепа в череп все чем были полны оба.
Сквозь черную пустоту лобных скважин выдавливаясь из пор ледяной мертвой жижей растекаясь в сыром непроглядном мраке где неотличимые от него мелкие твари копошатся урчат чмокают превращают в дерьмо своих внутренностей чье-то тело раскисшее от подземных вод мясо мышц умевших когда-то двигаться унашивать ребенка ощущать усталость слизь белых с кровяными прожилками шаров вбравших внутрь свет и краски и тот кусок плоти что дарил когда-то больше чем сладость заставляя думать о замысле превышающем отдельную жизнь и округлый изборожденный извилинами ком вещества что способен был вмещать бесконечность мира и бесконечность мысли и все что внутри тосковало заставляло страдать исходить криком торопить блаженный конец.
Дальше глубже сквозь сужившуюся тесноту словно сквозь внутренность полого стебля отдирая вместе с телом последнюю боль.

24. Свет

Глаз размером с пространство, которое он вмещает, но сам невидимый, неосязаемый.

А может быть, и не глаз — только зрение, вбирающее оком, и больше, чем оком, способное приблизить по желанию любую подробность.

Тихо из ясного воздуха проявляется силуэт козы. Она стоит на куче отбросов, как на древнем холме. Загнутые рожки упираются в Млечный путь.

Мысль, освободившаяся от боли, чувство ясности и выздоровления, когда незачем себя ощущать и помнить.

Легкость и бессилие свободы.

Впадины земли залиты утренним молоком, небо на востоке начинает светлеть, истаивает утренняя звезда, но слух еще не родился.

Тени обретают объем, плотность и цвет. Не холмы, а груды бетонных, каменных обломков, уже полузанесенные землей, заросшие травой и кустарником. Из желтых сухих пучков торчат железные прутья.

Слабый ветерок проносит по земле несколько мятых листков бумаги; пробуждается звук.

Мимо нагроможденных обломков и мусорных отбросов, мимо покосившихся камней и крестов, мимо плит лежачих и плит стоячих, плит чугунных, бетонных, стандартной отливки, как форма однообразной жизни для женщины, для ребенка, для мужчины, с короткими, как жизнь, черточками между стершимися цифрами, с запечатленными, умерщвленными, засушенными тенями под небьющимися овальными стеклами.

Голубь пристроился на голове. Макушка и лоб уже в белых потеках. Еще одна тепловатая капля падает на левый глаз, и нет рук, чтобы вытереться, соскрести — как нет ни бессилия, ни унижения, ни жалости.

Ветер подносит листок к грязным сапогам. Выцветшие солдатские штаны, гимнастерка без пояса, тощая детская шея, рыжеватый пушок на подбородке.

Кто он? Что-то вздрагивает будто в самом воздухе.

Тонкое лицо, знакомый вырез ноздрей, смешной хохолок на макушке... а откуда эта горбинка на носу? Ударился обо что-то в детстве, сместил внутренний хрящ...

Кто это может знать? Откуда?

Знание, существующее само по себе.

Рот полуоткрыт, губа отвисла.

Рыжая собака наострила уши. Напрягся и потемнел островок шерсти на загривке. Как будто она способна почуять. А может, и она существует, как я, потому, что мальчик с рыжеватым пушком на подбородке, с неузнаваемой горбинкой носа пробует разобрать каракули на мятых листьях, и нюх ее заполняет пространство запахами.

Запах желтеющей осенней листвы, запах сладкой земляной сырости, запах гниения и увядших цветов.

Шевелятся губы, вздрагивают загнутые, рыжеватые, такие знакомые ресницы.

Разбираешь ли ты почерк, сынок? Понятен ли тебе еще язык? эти надписи на камнях? сами эти камни? эти обломки бетонных плит и загаженных изваяний? этот незнакомый, как будто призрачный мир вокруг? Можешь ли ты меня слышать?.. Точно возобновляется жизнь из невнятных строк в миг, когда ты пробуешь их прочесть, шевеля губами, и я могу говорить с тобою, сынок... ничего, что я так тебя называю?..

Порождение моего духа или моей плоти.

Как тебя зовут? Я не знаю, сколько между нами времени. Мы никогда друг друга не видели и уже не увидим, ты не можешь ничего знать и помнить — только шевелить губами, точно узнавая слова, пусть даже чего-то в них еще не понимая. Но вдруг благодаря тебе смогут теперь существовать дальше вместе со мной все, кого удалось мне в себя вобрать или вызвать к жизни? Не сразу, не простым усилием, но, может, нам с тобою еще дано что-то восстановить, заполнить заново потрясенный опустевший мир лицами, звуками, запахами, словами, мыслями, новой и вечной любовью, или, может, безумием.

Глаз козы с горизонтальной щелью зрачка. Куст акации, как зеленый взрыв. Крохотный цветок, потерявший и еще не вспомнивший свое название, с лазурным крапом в желтом, как солнце, зеве.

Можешь ли ты ощутить, как ощущал когда-то я, что совершается и безвозвратно уходит в каждое из вот этих мгновений, пока мы замираем над строками, похожими на бессмысленное бормотание — чтоб, может быть, в них перейти? Я ничего не сумел, я потерпел поражение, от меня ничего не осталось — лишь ненадежная память да горстка слов о тех, с кем соприкоснулась однажды моя мысль или моя душа. Но может, для чего-то и я оказался нужен.

Будь благословен. Ты не можешь меня знать и видеть. Но разве те, кто видят друг друга каждый день, воспринимают рассеянным слухом колебания смущенного воздуха, даже соприкасаются друг с другом — разве они на самом деле встречаются? Не более чем тени, которые проходят одна сквозь другую, не замечая, ничего не оставив и не изменив в себе. Подлинная встреча дается нам лишь как чудо в тот самый редкий миг, равный проникновению, когда мы не просто кажемся себе живыми. Только это и может остаться — то, что было в нас настоящего: любовь, боль, страх, радость, стыд, вина.

Не пытайся меня понять. Того, что вдруг мне открылось, не вместить в слова и никому не передать — разве только намеком, этой вот дрожью, от которой напрягается все больше светлеющий воздух. Может быть, не знать этого — значит жить. Ничего невозможно вспомнить, только прожить самому заново; ничего нельзя передать по наследству — только попытку слов, беспомощные каракули на невразумительном языке, только напряжение и страсть.

Буквы преобразуются, прорастают стебельками растений, усиками разбегающихся насекомых. Шелестит желтая листва, в вышине сходятся стволы берез. Тонкий пласт земли на вывороченных корнях пахнет жизнью и умиранием. Проступает кровь из надломленной ветки.

Прозрачный туман омывает зрение как слезы,

Какая вдруг ясность! Расширяется слух и зрение.

Откуда этот звук? Поначалу кажется, что серая корова трется головой о ствол дерева, долго, равномерно, упорно, и так же равномерно позвякивает колокольчик на ее шее. Нет, это она лижет ствол. Дерево живет лишь одной половинкой, зеленеет всего несколько ветвей, но еще проступает смола на горькой, как губы, коре, смешивается со сладкой слюной.

Золотая листва устилает землю. От нее, а не с небес, исходит свет, наполняющий воздух. Небо кажется почти черным, и сияющие земные предметы готовы всплыть в эту густую, прозрачную черноту.

1990—1994

ПОСЛЕСЛОВИЕ НА РАЗВАЛИНАХ

1

«В какой-то момент бывает нужно перечесть написанное глазами читателя постороннего, чужого, — писал я в 1990 году, заканчивая цикл рассказов «Голоса». — Или, скажем, иностранца: взгляд не просто отстраняется — воспринимаешь себя как бы из другой системы координат».

Подвыпивший персонаж в одном из этих рассказов пробует объяснить непонимающему мальчику, где работает его мать. «На фабрике по переработке старой бумаги в новую... Чтобы можно было на ней печатать новые, полезные книги... Ей доверили не просто чан, а секретный. Ей доверили бумаги особо вредные. Изъятые. На почте, на таможне, у некоторых отдельных граждан. Книжки не наши, печатные материалы, машинописные в том числе... Чтобы она весь вред, весь этот чужой опиум вываривала без остатка и спускала по трубам, куда положено... А она как пользуется доверием?.. Она ведь кое-что из этого опиума задумала припрятывать и приносить домой, причем с целью наживы. Библию, Святое Писание, предлагала за десятку, как какой-нибудь детектив!»...

Со странным чувством перечитываешь это сейчас: поймут ли иные мои младшие современники, подростки с тех пор дети, что тут не просто пьяный абсурдный бред, а вполне житейская история сравнительно недавнего советского времени? Пожалуй, не только иностранцам надо теперь пояснять, что самиздат, рукописи и печатные книги, запрещенные, изъятые работниками КГБ при обысках, предписано было превращать в макулатуру. Особенно много бумаги поставляла для переработки таможня и почта: изымалась и уничтожалась вся религиозная литература — «опиум для народа» (знакомо ли вам это выражение? — мысленно осведомляюсь я), который пытались «забросить» к нам разные миссионерские организации. Свое первое Евангелие в бумажной обложке я купил у такой женщины; она же предлагала коллекционерам и зарубежные марки, отклеенные с конфискованных на почте конвертов.

А в романе «Возвращение ниоткуда» перед пунктом для сдачи макулатуры выстраивается с ночи очередь — надо ли и тут объяснять, что это вовсе не фантазмагорическая выдумка сочинителя? Недавний советский гражданин подтвердит: существовал своеобразный бизнес. За несколько килограмм сданной бумаги человек получал талоны на покупку «дефицитных» книг — вовсе не обязательно для чтения: их можно было потом перепродать с выгодой. (Особенным спросом пользовались Дюма и Морис Дрюон). Манипуляции с бумагой и

книгами приносили доход, для несведущих труднообъяснимый. Попытки подсунуть в кипу бумаги постороннюю тяжесть тоже не мной придуманы; ради «макулатурных» талонов сдавали и хорошие книги, иногда украденные в библиотеке. (Приемщик мог великодушно не заметить библиотечный штамп). Что категорически запрещено было сдавать — это произведения классиков марксизма-ленинизма и партийных руководителей. На многотомных сочинениях Брежнева или Андропова можно было бы хорошо заработать, но за этим строго следили — идеология! Надо ли вам пояснять, как грозно звучало тогда это слово?..

Чуть ли не на каждом шагу чувствуешь эту необходимость мысленно объяснить гротески абсурдного мира человеку другой цивилизации — в самом ведь деле другой. Болезненный юноша-повествователь в моем романе считает себя просто не способным многое понять, других он спрашивать стесняется, и воображение его выстраивает собственные толкования, которые кажутся фантастическими. Но, может, именно это особое устройство ума и позволило ему ощутить в нашей реальности что-то, недоступное другим, считающим себя более понимающими, здравомыслящими.

Мне он, во всяком случае, помог осознать многое.

2

Придется тут, видимо, упомянуть и о некоторых обстоятельствах личной жизни. В 1964 году оказался арестован и затем осужден по хозяйственному делу мой папа. Он работал тогда на полиграфической фирме, производившей разнообразные изделия из бумаги: тетради, блокноты, альбомы и т.п.. Один из гротесков тогдашней экономики: фирма должна была среди прочего выполнять план по сдаче макулатуры. (Опять, черт побери, эта макулатура!) Бумажные рулоны приходили на фабрику обычно с поврежденным наружным слоем; этот слой полагалось срывать и сдавать на переработку. (Пояснять ли читателю-инопланетянину, что означал в те времена план? — поневоле осекаюсь я снова. — Это был закон, более важный, чем осмысленное производство. Не сдав положенное количество макулатуры, нельзя было выплатить рабочим ежегодную премию). Работники одного из цехов сумели план выполнить, не сдавая в макулатуру весь «срыв», они сделали из разумно сэкономленной бумаги «неучтенные» блокноты (которых, как многого другого, тогда нельзя было нигде купить). Отец к этому отношения не имел; нужна была лишь его подпись, чтобы грузовик с товаром мог выехать за ворота фабрики. Не знаю, как была получена эта подпись. Отец был человек преувеличенной, болезненной честности, но борец он был никакой. Как-то он предпочел уйти с работы, где ему все время старались всучить взятку. Но когда по этому поводу было возбуждено дело, его объявили виновным.

История, которую рассказывает повествователь в романе — это, конечно же, совсем другая история. Но лагерный служитель приезжал и к нам с за-

пиской от папы и жил у нас; я его как-то водил на представление. Между прочим, отец отбывал наказание в лагере, где вскоре оказался известный наш диссидент Владимир Буковский. Мы устроили маме Буковского встречу с моим отцом, чтобы он рассказал ей про тамошние порядки и начальство, с которым предстояло иметь дело: она собиралась туда на свидание.

Среди диссидентов были мои близкие друзья, наши отношения никогда не прерывались. Но именно после ареста отца меня не отпускала сковывающая мысль: КГБ может мне в случае чего сразу же пригрозить, что не позволит выпустить его, как положено, досрочно, заставит отсидеть полный срок. Чувствовать ответственность за других — не то, что опасаться за себя. Осведомленность этой ирреальной организации в своих делах я, как выяснилось вскоре, преувеличивал. В один прекрасный день меня вызвали к следователю, предъявили, среди прочего, подписанные мною письма в чью-то защиту. (Впервые в жизни я увидел тогда ксерокопию, воспроизводившую мою подпись — новинка современной для нас техники, и где же ей было появиться, как не в КГБ?) Время спустя меня вызвали еще к одному следователю и после угрожающей беседы дали подписать формальное предупреждение: в случае, если я буду продолжать свою деятельность, эта бумага будет приобщена к моему делу.

Где-то она, наверное, и сейчас хранится. Честь для меня, что говорить, была попросту не заслуженная: никакой деятельностью похвастаться я не мог; они обо мне вообще мало что знали. Упомянуть этот эпизод мне понадобилось здесь лишь вот почему: начиная первый допрос, замухрышка следователь спросил меня, не желаю ли я воспользоваться услугами переводчика. «Наш закон позволяет любому гражданину пользоваться во время следствия языком, который он считает родным». Он, видимо, хотел хотел унижить меня, еврея, может быть, спровоцировать на срыв. (Потом уже я подумал: а как бы он интересно, поступил, если бы я в самом деле потребовал переводчика, скажем, с немецкого?)

В романе нетрудно узнать похожий эпизод — читателю он кажется, наверное, еще одним диалогом из драмы абсурда. Нет, все происходило, представьте, на самом деле — как и вот это: «Мой провожатый забежал вперед, открыл крышку бокового щитка — внутри оказались два ряда кнопок. Поколдовал над ними быстрыми пальцами — как пианист или, скорей, фокусник, — чтобы я не проследил, какие он нажал кнопки на самом деле, какие только для виду, и не узнал секретного кода, позволяющего выйти». Выйти из следственного корпуса Лефортовской тюрьмы КГБ.

Это не выдумка сочинителя, как и многое другое в романе. Я начал писать его еще в 1990 году, закончил в 1994 — можем ли мы сказать, что уже вполне опомнились от пережитых за этот срок потрясений, осмыслили совершившийся перелом? Документальные факты: во время октябрьских событий 1993 года в Москве кто-то привез в багажнике своей автомашины и продемонстрировал участникам митинга обезображенный труп их политического врага. На стене здания возле московского Дома правительства какой-то из участников перестрелки с гордостью написал: «Я убил троих + бабу». Даже не врагов, не преступников —

просто людей. (Эту надпись, впрочем, я воспроизвел уже в следующем романе, «Приближение»). И к жителям небольшого города действительно обращались по радио с призывом выйти на улицы: какой-то прорицатель предсказал на ближайшие часы землетрясение. Там землетрясение, слава Богу, не состоялось, жители просто поразвлеклись на свежем воздухе. Нам свое довелось все-таки пережить. Осмысливать же кое-то мы до сих пор продолжаем.

3

Иосиф Бродский в своей Нобелевской речи заметил, что людям Запада проще понять российскую действительность до 1917 года: социальная структура, в общем, до сих пор осталась аналогичной. Именно этим он, между прочим, объясняет «популярность русского психологического романа XIX века и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются читателю, видимо, не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними».

Повествование в романе я поручил юноше, которому диковинными и малопонятными представляются не только общественные отношения. Врачи и родители не зря позаботились оградить его болезненный, уязвимый ум от телевидения, радио, даже газет. Ему приходится, как я уже говорил, искать собственные объяснения для всего происходящего — и сознанию, наделенному действительно особой, обостренной чувствительностью, странным образом открывается многое, во что другие предпочитают не вникать. Подлинное понимание бывает слишком тревожным.

«Есть такое, куда лучше не заглядывать, — пробует образумить его напуганный жизнью отец. — Вот, не знаем же мы с тобой, как устроен этот магнитофон, какие в нем крутятся штучки и откуда берется музыка... Наше дело выучить правила, где что нажимать, а что делать запрещено. Лишь бы играло».

Но разве это только наша, советская проблематика? Отцу кажется опасным просто даже заглядывать в макулатурный подвал, где творятся неизвестные махинации. Сыну этот подвал явственно представляется кладбищем памяти, которой нас годами старались лишить насильственно — но от которой мы сами так часто готовы бываем отказываться добровольно, лишь бы избавиться от неприятных мыслей и ощущений. «Закрытые зоны», где можно было получать блага, в других местах недоступные — это из нашей, советской реальности; но только ли нам знакомо само желание отгородиться от менее удачливых — и подхватить грозную песнь обитателей Зоны: «На всех не хватит»? Что же говорить о известном всем ощущении нарастающего кризиса цивилизации, когда люди бесполезно, бессмысленно стараются замазывать на фасаде трещины и потеки, вместо того чтобы позаботиться о новом, доброкачественном фундаменте — без этого ведь, может, не избежать катастрофы?..

Напряженность, проблематичность нашего российского существования, возможно, стимулирует и некую особую чувствительность к подобным вещам.

Не у всех, разумеется не у всех. Нам, людям, как уже здесь было замечено, трезвым и здравомыслящим, она бы только затрудняла обычную жизнь. И совсем ли нормальным, в самом деле, можно считать человека, вообразившего себя ответственным за происходящее? Голос неумолимого экспериментатора убеждает повествователя: изменить нужно само сознание — только это позволит прорваться куда-то, «где нормальные мозги не выдерживают. Потому они туда и не заходят... Самое большее, на что нас хватает — прикрывать в меру способностей эту самую бездну, выстраивать над ней видимость порядка и разумности. Ведь нормальным-то мозгам нужны ответы, потому они безнадежных вопросов и не задают, им заранее страшно поражение»...

Впрочем, и сам этот экспериментатор, и разговоры с ним порождены, возможно, лишь все тем же болезненным воображением повествователя. Но воображение может обладать и подлинно творческой силой (в отличие от безответственной произвольной фантазии). Оно не просто связано с реальностью — оно способно на многое в ней повлиять, что-то позволяет в ней объяснить, а значит, изменить. Без воображения — что бы мы могли по-настоящему знать о себе? О том, как мы рождаемся и умираем? Что такое время и бесконечность?

Самое недоступное в жизни, то, что представляется ее смыслом и тайной, по-настоящему можно постичь, согласно известным концепциям, лишь выйдя за ее пределы. То есть, уже перестав жить — а значит, и сказать о том, что ушедшему, может быть, открылось, на языке, доступном оставшимся, в принципе невозможно. Нам здесь доступен лишь поиск образов — над чем, по сути, и бьется человек пишущий...

Моя работа продвинулась, помнится, уже довольно далеко, когда я вдруг обнаружил в книге Макса Брода про Кафку свидетельство о его незавершенном замысле — предполагаемом финале романа «Америка». «Rossman (герой романа) ist wirklich vom Autor «umgebracht» worden: das Schlußkapitel ist eine Vision, deren Zeit (falls man da überhaupt noch von Zeit und Raum sprechen kann) die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit ist, aber vom irdischen Leben her gesehen, also ein eigenartiges Zwischenreich und jenseitiges Leben, in dem ja wahrlich für jeden Platz ist, in dem «alle gebraucht werden». Rossman ist in die Transzendenz eingegangen, in eben jenem Sinne, den Karl Jaspers formuliert: «Der Mensch als einzelner in seiner Existenz... ist in seiner Bindung an den transzendenten Gott und durch diese unabhängig gegenüber aller Welt».¹

Помню, как я был поражен: ведь это почти буквально то, о чем я думал, к чему хотел бы пробиться! Вся моя работа была попыткой увидеть, вскрыть за конкретными обстоятельствами, за любой отдельной жизнью нечто общезначи-

¹ «Россман (герой романа) действительно был автором «убит»: заключительная глава есть «видение», время действия которого (если тут вообще можно говорить о времени и пространстве) есть безвремяе, вечность, но увиденная как бы из земной жизни, то есть своего рода промежуточная область, потусторонняя жизнь, в которой поистине есть место для каждого, в котором «все оказываются нужны». Россман вошел в трансценденцию, в том самом смысле, как об этом говорит Карл Ясперс: «Человек, являясь отдельным существом... оказывается связан с трансцендентным Богом и благодаря этому независим от всего мира».

мое, проникнуть в измерение экзистенциальное, недоступное прямому, рациональному пониманию...

4

Но тут мне пора, пожалуй, умолкнуть. Столько передуманного вкладываешь в работу — комментарий может изрядно превысить по объему сам текст; едва ли не каждый эпизод хочется сопроводить рассказом. В романе есть образ семечка, «в котором уже содержатся корни и ствол, и шелест каждого будущего листочка, и вся пятисотлетняя будущая жизнь, но пересказать ее обычными словами — значит прожить эти пятьсот лет». Автор, если уж на то пошло, предлагает читателю всего лишь семечко — знать бы, что прорастает из него каждый раз в сознании совсем другого человека, на пересечении с его особым опытом, миром, неповторимой жизнью, судьбой!

Прошло не так уж много лет — и вот я, словно не узнавая, перечитываю собственные страницы. Перемены с тех пор произошли более значительные, чем мы способны, может быть, осознать. В стране изменилась не просто общественная, политическая система — все ощутимей уходит в прошлое, оставляя после себя тягостные развалины, целая цивилизация, со своей экономикой, эстетикой, мифологией, даже эсхатологией. И на этих развалинах исподволь возникает, разрастается уже действительно новая жизнь. По-иному ощущаешь мир вокруг, самого себя. Можешь казаться себе сколь угодно независимым от обстоятельств, от самого времени — время волей-неволей налагает на тебя свой отпечаток; мы не всегда отдаем себе в этом отчет. Как различаются работы, написанные одним и тем же автором в разные годы! Меняется поворот ума, поворот взгляда.

«Буквы преобразуются, прорастают стебельками растений, усиками разбегающихся насекомых. Шелестит желтая листва, в вышине сходятся стволы берез... Какая вдруг ясность! — озираюсь я вместе со своим повествователем. — Расширяется слух и зрение».

Вот почему кажется не такой уж простой случайностью, что последний год этого столетия оказался для меня отмечен работой, которую я назвал «Amores novi». Любовные элегии уходящего века, уходящего тысячелетия — с ними и хотелось бы войти в новое.

1999

«Возвращение ниоткуда» (Дневник работы)

Из книги «Стенография конца века»

10.12.89. Замысел: еще один голос — из «жизни после жизни». «Душа» смотрит с высот на жизнь близких — от их памяти о ней зависит ее дальнейшее существование: прозябание, угасание, мучения. Это и есть рай и ад: муки и покой обеспечивает память... Есть и несоответствие: несправедливая память (о злом, о добром). И невозможно объяснить живущим, предупредить, что их ждет...

17.6.90. Замысел («Душа»): От лица доброго, простодушного, переживающего за всех, ничего не понимающего персонажа. Среди того, что он начинает понимать: все — части единства. Для «ангелов» не существует живых и мертвых, продолжается разговор. Неважно, помнят ли конкретно тебя: смешны заботы о памятнике. Пока помнят чье-то добро, чью-то мудрость, помнят и твое добро, твою мудрость. Кто-то древний радуется, когда вновь живущий повторяет его мысль, его находку: это продолжение его жизни, его души. Доброта ушедших поощряется всяким новым добром там, на земле. И всякое новое зло на земле мучит носителей зла. Прощение, торжество добра — общая радость. Страшный суд продолжается постоянно.

24.6.90. Замысел. Мучаются за последствия дел, совершенных на земле. Бросил в море контейнер с отравляющими веществами и мучается, как гибнут рыбы — или мучается знанием, что это неминуемо произойдет. Знает или видит, что построенный им дом разрушается землетрясением, и там гибнут его дети. То же: сделавшие незаметные добрые дела — радуются их «прорастанию» спустя годы, десятилетия. «Диссиденты» переживают перестройку (зацепление шестерен). Вот что могут сделать живущие для ушедших — облегчить их участь. Злодеи мучаются (душевно), пока страдают (отдаленные) наследники их дел. И наоборот. Веками. Потомки изживают наказание.

21.7.90. Замысел («Душа»). Может быть — «Прозрачный туман». Все в прозрачном тумане. Вроде бы видно все — но ничего не видно, пока вдруг не окажется перед тобой, и так же быстро исчезает.

29.7.90. Прозрачный туман. Нужен сюжет: раскрывающаяся из скрещенных эпизодов история взаимосвязи и закономерности того, что на поверхности казалось случайным — и осознание вины, ответственности. «По ту сторону»

(«тот свет») — не сюжет, а перспектива, способ, поворот взгляда (и элемент сюжета). Видится (вспоминается) только то, что связано с твоей жизнью, хотя ты об этом и не подозревал. Вначале выскакивает, возникает эпизодами как будто произвольно, нерасчлененно, в сюрреальных связях; потом связи обозначаются, перестраиваются, открывается единство и смысл жизни, закономерность истории...

5.10.90. «Прозрачный туман». Это книга вины, покаяния, горечи — и светлого приятия мира.

7.10.90. С утра чувство кризиса в работе: невозможность писать, не определившись с самой философией повествования. Перебирал заметки, листки, открыл Рильке (Бригге) — и вдруг пошли идеи, детали, подробности. Вновь надежда, почти окрыленность. Так бывало не раз, так будет всегда. Из этого состоит жизнь: отчаяние и вновь надежда. Но в книге все это надо объять взглядом с высоты — ловить мгновение, когда оно дается...

«Прозрачный туман». Продумать философию: забытый на земле утрачивает форму, т.е. отдельное существование, сливается со всеми. И лишь некоторые — вечные — поддерживаются памятью. Но что это за память? Разве она воздает по справедливости?

17.10.90. Главная новизна, главный шанс этой вещи — не в сюжете и мыслях, а в мироощущении (за всех) и точке зрения (двойной, тройной, оттуда, из будущего)...

Это все опять повторить? Я ведь уже знаю, что будет потом. Но с этим знанием отсюда все, пройденное по второму разу, обретает совсем другой смысл и содержание. То же — и не то.

20.10.90. Городок Maastricht на реке Maas, с мостом на еще деревянном основании. (Tricht — искаженное латинское «мост»). Прекрасная церковь с фигурой Марии... И здесь играл самый потрясающий орган, какой я когда-либо слышал. Мне удалось уединиться на скамье, сосредоточиться на музыке — неизвестной, кажется, современной — и вдруг заработала душа, и я понял, какой напор, какую напряженность хотел бы дать своей повести. Надо это держать в ушах, в душе, сверять с этой музыкой работу. Только бы не упустить.

3.11.90. Вернувшись из Германии к письменному столу, ощутил все-таки потребность в связном дневнике этой работы. Первые записи на листочках я начал еще в июне (а листок с первоначальной идеей датирован 10.12.89. Но большинство таких листочков я, используя, выбрасываю — а хочется (и имеет смысл) не забывать первоначальных импульсов, осознавать развитие замысла.

В церкви Маастрихта, присев на скамью, я услышал удивительный орган. Не знаю, чья это была музыка — возможно, какая-то новая; в ней были страсть, сила, порыв, скорбь и радость. И я вспомнил об оставленной дома работе и подумал: так надо ее написать. Надо не забывать эту музыку сейчас, надо, чтоб она звучала в ушах...

Нельзя садиться за эту работу без высокого самоощущения — только, как говорится, помолясь, возобновив музыку.

5.11.90. *Из рабочего дневника.* Советское — но не только советское — безумие... Страх советский — и страх экзистенциальный: приметы кризиса цивилизации. В нашей жизни еще подлинная боль; на Западе ее научились снимать.

Макулатурный склад — кладбище памяти...

7.11.90. ...Жизнь внутри лагеря. А ты вообразил, будто свободен? Ты просто не хотел отдавать себе отчет. Или ты все-таки свободен? Тогда каким образом? (До осознания и после него?) Что значит быть внутренне свободным в несвободном мире? Можно ли при этом не страдать, не сталкиваться с системой, сохраняя чистую совесть? (Д. Самойлов? Мандельштам?) Свобода — подчинение высшей идее, высшей силе, и тогда она может потребовать жертвы...

Я еще над всем этим по-настоящему не думал. Тема «диссидентства» пришла внешне, из биографической фабулы. А нужен — Кафка.

Экзистенциальная проблематика в цветах нашей истории.

8.11.90. К чувству тревоги, боли и горечи за свою больную, несчастную страну примешивается еще и стыд, и обида. Как будто ее болезнь еще и постыдна — вроде похмелья после запоя. Но мы-то в этом не виноваты.

Так ли уж не виноваты?

9.11.90. Начал писать по эпизодам, вразнобой. Са іга! Недоволен я только продуктивностью...

10.11.90. Посидел над работой. Новое развитие и углубление мысли... Куча идей на листках. Не мог оторваться — и никакой усталости... Завтра мне придется прервать работу ради неотложных дел — это всегда, как прерванный coitus. Но может быть, я не утеряю разгона? Столько заготовлено идей.

Из рабочего дневника. Важное ощущение нашей жизни (жизни вообще, но нашей закрытой системы особенно): какие-то процессы происходят в недоступных недрах, на поверхность выплескиваются лишь иррациональные частности... Все по отдельности вроде нормально, а целое катастрофично, у него свои законы, и оказывается, никто не владеет им, не может предотвратить... И это не только о нас...

14.11.90. Утром Галя 2 часа простояла в очереди за маслом, оно было всего в одном магазине. Вечером я заглянул в другой магазин: все прилавки пусты буквально. Лишь в молочном отделе под стеклом лежали пачки турецкого чая. Нет яиц, спичек, соли — перечислять бессмысленно. Вернулся к работе, выстраивал записи...

В журнале «Век XX и мир» интересное интервью М. Гефтера на тему, о которой я думаю последнее время: наша страшная история, страшная жизнь — это все-таки была жизнь (как жили и на войне, и под оккупацией). Надо найти способ отношения к собственному прошлому. «Гипотеза альтернативы — другой жизни в пределах данного, без разрыва условий человеческого существования; изымите Сталина из культуры — и мы будем без Булгакова, без Платонова, без Мандельштама»...

15.11.90. Писал эпизод вызова к следователю. Есть чувство, что понемногу овладеваю повествованием... В «Лит. газете» прочел интересные футурологиче-

ские размышления Станислава Лема — одного из тех, чье мнение я всерьез уважаю. Он становится с годами все более пессимистичен. Будущее все более непредсказуемо, темпы перемен во всех областях: экономической, политической, научной, нравственной, экологической — неслыханно убыстряются, нас куда-то несет, и неизвестно куда. Все новые события опровергают мнение Фукуямы о «конце истории».

В другой статье напоминают слова А. Камю: «Дела пойдут гораздо лучше, когда будет раз и навсегда покончено с надеждой». Надо учиться жить при чуме... Ну, это нам не привыкать. Если бы не мысль о детях. По Камю, надежда равносильна смирению. А жить значит не смиряться. Где здесь оптимизм, где пессимизм? «Больной не имеет права на пессимизм» (Ницше) — но ведь это о том же.

Штрихи современной жизни. Беженцы заняли здание тюрьмы, поставленной на ремонт, и потребовали их там прописать, в камерах. В Казани шестиклассник залез в клетку пантеры и попытался отнять у нее кусок мяса.

6.12.90. Из рабочего дневника. Вдруг стал разрастаться проходной эпизод с предсказанным землетрясением. И пошла работать мысль...

Как прихотлива творческая кристаллизация! Брошено почти случайно подобранное зернышко — и кристалл уже ветвится, ветвится. Я еще не уверен, что пойду этой дорогой (надо заново пересмотреть с этой точки зрения все уже написанное), но похоже, она может стать плодотворной...

Огромная трудность моего метода: приходится писать все сразу, держать в голове одновременно все эпизоды, потому что конец должен отзываться, мерещиться в начале, а начало зависит от конца. Я не могу писать первую главу, не зная последней; между тем, чтобы узнать, надо писать.

13.12.90. Я все время пытаюсь сопротивляться разговорам о культурной катастрофе, о конце литературы.

— Но я-то еще существую! Я пишу, и только от меня зависит, чего будет стоить написанное. Пока я пишу нечто, заслуживающее название литературы, литература жива.

— Ты забыл еще про читателя. Для существования литературы нужен хотя бы один читатель.

— Я привык больше надеяться на читателя будущего.

— И на то, что рукописи не горят? Но пока ты продолжаешь строчить, игнорируя катастрофу, над тобой уже поднялась рука, и ты вдруг прихлопнут, как муха.

— Ну, этот конец висит над нами заведомо. Раньше ли, позже ли.

— Рука поднялась не только над тобой, но и над твоими детьми. Будущего для них нет.

— Вот тут мне ответить нечего. Тут не о литературе думать, а заткнуться, бежать, спасать их.

22.12.90. В моем стремлении уйти от трагедии, в способности чувствовать счастье существования несмотря ни на что, есть еще оттенок самолюбивой гор-

дости: не допустить или хотя бы не показывать виду, что какая-то внешняя сила меня одолела. Несмотря ни на что, несмотря на очевидность.

Но может быть, способность взглянуть в лицо трагедии, признать поражение, неизбежную для всякой жизни катастрофу нравственно и творчески более плодотворна.

И я не знаю, для чего требуется больше силы, мужества, стойкости. То есть, знаю, конечно. Настоящим-то испытаниям я еще не подвергся. Я как-то написал, что способность к счастью связана с религиозным мироощущением — но кто может сравниться с Иовом?

Л. Я. Гинзбург: литературоведение помогает сохранить литературные произведения, «которые перестают существовать, когда о них перестают говорить».

23.12.90. Картинки времени. На одесской толкучке торгуют перегоревшими лампочками по 4 коп. штука. Я не мог понять, зачем. Оказывается, чтобы на службе подменить ими хорошие, а те брать себе. Купить-то негде.

28.12.90. На темы Л. Гинзбург. Может быть, моя полуглухота — нечаянно подаренный способ отгораживаться от помех мира. Шум чьего-то радио не мешает мне писать — для этого достаточно заткнуть одно ухо: занята лишь одна рука. (Пастернак терзался в Чистополе).

Я всегда гордился способностью писать несмотря ни на что — делать свое дело. Может быть, зря гордился. Вопрос, что и как при этом пишется — с усилием возможна только механическая работа, когда не слышишь диктующего голоса. «Пою, когда гортань сыра, душа суха». А если сознание хитрит — лучше замолчать. Поэты молчали годами не просто потому, что их не печатали или не было уединенной комнаты: душа была невосприимчива. Может быть, проза менее чувствительна, тут больше элемент чернорабочий. Но, может, мы и прозы подлинной не имеем.

Социальное самоосуществление, признание писателя важны в общих случаях, для массы хороших писателей и поэтов: тут можно сказать о несостоявшихся, переродившихся судьбах. Но это правило теряет силу для гениев: Платонов, Мандельштам выдержали четверть века несуществования (для читателей). А может, выдержали бы и полвека, и век.

Из рабочего дневника. Трудно входить в работу после перерыва (вызванного заработками и хлопотами). Утрачивается измерение прозы.

2.1.91. Я недоволен собой: пишу плохо, без уверенности, все больше уточняю замысел, заново компоную. Но, может быть, это правильной всего: написанное приходится переписывать, переосмысливать; все становится обобщенней, переводится в более высокую реальность. Чтение Кафки на этом этапе самое плодотворное.

3.1.91. *Из рабочего дневника.* Следователь и др. сами боятся катастрофы и подразумевают за мной знание. Я прочел, но не понял — может быть, вспомню,

пойму. Они тоже не уверены, тоже ищут во мне помощи, спасения. Тетрадку-то упустили.

11.1.91. Удивительно! Вдруг наткнулся в книге Max Brod über Kafka на такое (с. 327): «Rossman (в романе «Америка») ist wirklich vom Autor «umgebracht» worden: das Schlußkapitel ist eine Vision, deren Zeit (falls man da überhaupt noch von Zeit und Raum sprechen kann) die Zeitlosigkeit, die Ewigkeit ist, aber vom irdischen Leben her gesehen, also ein eigenartiges Zwischenreich und jenseitiges Leben, in dem ja wahrlich für jeden Platz ist, in dem «alle gebraucht werden». Rossman ist in die Transzendenz eingegangen, in eben jenem Sinne, den Karl Jaspers formuliert: «Der Mensch als einzelner in seiner Existenz... ist in seiner Bindung an den transzendenten Gott und durch diese unabhängig gegenüber aller Welt». («Россман (герой романа) действительно был автором «убит»: заключительная глава есть «видение», время действия которого (если тут вообще можно говорить о времени и пространстве) есть безвременье, вечность, но увиденная как бы из земной жизни, то есть своего рода промежуточная область, потусторонняя жизнь, в которой поистине есть место для каждого, в котором «все оказываются нужны». Россман вошел в трансценденцию, в том самом смысле, как об этом говорит Карл Ясперс: «Человек, являясь отдельным существом... оказывается связан с трансцендентным Богом и благодаря этому независим от всего мира»). Но ведь это почти дословно мой замысел.

25.1.91. Работа в очередном тупике. Я пишу, чтоб хоть как-то, технически выстроить текст, но чувствуя, что все придется переписывать. Главное, не удается подняться над психологическим реализмом. Между тем нарастает чувство, что это может быть серьезный философский замысел.

29.1.91. Философия. Попытки вспомнить строчки Феликса — как попытки «припомнить жизнь», как «вспышки сознания в беспомыслии дней»...

Мы живем беспомыслию. Попытка вспомнить — всегда творчество.

2.2.91. Утром начал перечитывать первые главы — плохо, а главное, безнадежно. Но как часто бывает, на глубине кризиса вспыхивает искорка, идея, и сюжет оживает вновь. Только надо сначала забыть о желании успеть к какому-то сроку и возможности напечататься...

Из рабочего дневника. Искорка полуслучайной мысли: зарождающийся в герое страх — страх рождающегося, выходящего из утробы в открытый мир, с холодом, ветром, звуками (как будто до сих пор был глуховат)...

11.2.91. Странное чувство: общественной бесформенности, неизбежного усугубления катастрофы (отсутствие самых необходимых продуктов, дороговизна уже становятся угнетающими), может быть, неизбежной крови — и в то же время удивительная полнота бытия, мыслей, редкостная красота леса, тихое, целящее прикосновение снежинок к лицу, дети, любовь, работа, книги, тревоги.

12.2.91. Притча о Рамакришне, который пришел в дом к отцу умершего юноши и три дня плакал вместе с ним. На четвертый день он вдруг запел — и отец запел вместе с ним.

Я подумал, что это притча о праве искусства на существование в эпоху ужасов, газовых камер, войн. После Освенцима нельзя писать. Все искусственное выглядит бестактным, легковесным в сравнении с этим.

Искусственное — да. Но искусственна ли песня в сравнении с плачем, воплями? Здесь — преодоление хаоса, преображение, служащее жизни. Недаром Иаков плакал о Иосифе готовыми формулами Иова.

Из рабочего дневника. В последние дни как будто поймал нерв работы, пишу связно. Вчера виделся с Померанцами, завел с ними (обиньяком) разговор о необходимости и понимании жертвы. Точно, как всегда, ничего не запомнил, но сегодня вдруг вспыхнуло, кажется, финальное понимание.

Все ждут, что я наконец, вспомню какую-то спасительную идею, формулу из тетради (убеждены, что я действительно что-то могу вспомнить)... Я чувствую вину перед людьми. И начальство подтверждает, что я виноват, и я принимаю это без удивления, как герои Кафки.

19.2.91. Пишется, поэтому не делаю здесь записей. Когда работа не шла, я укорял себя за плохую работоспособность. Но старайся, не старайся, нужен еще естественный срок, чтобы все созрело по своим внутренним законам.

Вчерашняя догадка: нельзя вспомнить чужого, нужно что-то заново прожить самому.

27.2.91. Выбился из рабочего ритма, за весь день одна вялая страничка. Все новости, мнения, газеты, радио усугубляют чувство неотвратимо надвигающейся катастрофы... Читал дневники Т. Манна, на сей раз за 1918 г.: *Erschütterung, Entsetzen und Widerwille gegen das Ganze* (21.2). («Потрясение, ужас, отвращение ко всему происходящему»). В дневниках 30-х годов — те же слова. В сущности, он тоже жил от одной катастрофы к другой. Но жил и даже находил возможность радоваться жизни. Иногда эта радость кажется мне запретной, недостойной: когда я теперь читаю о событиях в Карабахе, Осетии — да где угодно.

20.3.91. Тупик в работе. Чувство, что все пока написанное облегчает тему, а она может стать великой, общечеловеческой, эсхатологической. Надо отрешиться от всех суетно-литературных соображений, в любой момент помнить о великом измерении — не просто сегодняшнем и здешнем, но о жизни и смерти, о изначальном и предвечном трагизме, о любви, надежде и обреченности.

2.4.91. *Из рабочего дневника.* Может быть, способность напоминать о счастье даже в момент катастрофы — по праву, ибо сам страдал (по больницам), и страдаешь, но помнишь об этом счастье, и чист душой, и ощущаешь себя ниже всех.

8.4.91. Как будто работаю, продвигаюсь, а все на одном месте. Сегодня особенно ясно почувствовал необходимость снизить героя: он дурак, innocent, заменяющий фантазиями знание о жизни.

6.5.91. Прекрасна в литературе сила и свежесть юности. Она рождает поэзию. Но проза, я убежден, обретает подлинную глубину и силу лишь с годами — с жизнью, с накоплением мудрости и культуры. Несчастье нашей жизни,

увы, еще и в том, что немногим хватает сил до зрелого возраста — в лучшем случае они исписываются, в худшем спиваются, гибнут. Сколько ранних смертей в нашей литературе последних лет!

7.5.91. Перечитал написанное (ок.150 стр); обнаружил, что многие решения я успел забыть. Вообще сделано больше, чем мне казалось. Но теперь стоило бы сделать перерыв для работы над эссе — больше просто не потяну из-за усталости. Перевел 4 стр., прогулялся по лесу...

Опять вспоминается легенда о 36 праведниках, на которых держится мир. (При чтении А. Городницкого о зловещности почти одновременной смерти Эйдельмана, Сахарова, Самойлова). Только ли к нашей стране это относится? А в Швейцарии, скажем, с праведниками все в порядке? Как все в порядке с жизнью? Или речь обо всем мире?

19.5.91. Вдруг с неудовольствием вспомнил сюжет о себе, который сложил для французских телевизионщиков. Какой-то упор на бесчеловечность и противоестественность условий, в которых мы выросли — без понимания, что выросло нечто достойное. Экзотика советской убогости — без духовного аристократизма. Вдруг подумал, что мы выглядим для Запада, как для нас — приезжие из провинции: все понимаем, гуманно сочувствуем, чтобы признать за ними даже свою правду — но уровень не наш. А кому должно быть дело до наших обстоятельств? Надо быть тем, кто я есть сейчас, надо осознавать и демонстрировать превосходство духовного аристократизма, а не убожество условий.

9.7.91. Перерыв, связанный с тупиком в работе, а теперь и с предстоящим отъездом. Сегодня в купленном на дорогу «Знамени» № 6 прочел интересную статью А. Якимовича «Эсхатология смутного времени»... Здесь многое о моей нынешней работе, да и о «Стороже». И я еще раз почувствовал, что нужно подниматься над этим уровнем, который уже становится уровнем общих мест.

Не только о нашем времени и наших обстоятельствах, но о человеческой жизни и человеческом уделе.

При всей трудности у меня все-таки много наработано, выстроен сюжет, выделены персонажи. Все время напоминать себе об уровне, о задаче.

1.10.91. Начал писать гл. 13 (избиение, 4 стр.), прочитав для камертона несколько страниц «Котлована». Это имеет смысл. Прогулялся по магазинам и по прекрасному лесу. +20, солнце. Слушал концерт для альта Шнитке...

Многозначность музыки. Чья это вступает тема? Другой образ (персонаж)? А может, это другое состояние, другая сторона моей же собственной души? Лирическую мелодию забивают механические звуки — силы внешнего зла, хаоса? Или борьба происходит в моей собственной душе? Любая словесная программа произвольна и не исключает другого толкования — даже если ее утверждает сам автор. Даже если она подтверждена словесным либретто: музыка выходит за пределы слов.

29.10.91. Н. Я. Мандельштам: «Невозможность трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания... Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у того народа, который

хранит «светоч, унаследованный от предков», т. е. когда народ имеет твердые ценностные понятия и трагедия говорит об их осквернении и защите. Не ведет ли к катарсису, духовному очищению и просветлению именно победа ценностей, утверждение их непререкаемой мощи? Европейский мир строился на величайшем катарсисе, доступном только религиозному осознанию — на победе над смертью и искуплении...

Трагическое, на каком бы малом участке оно ни возникло, неизбежно складывается в общую картину мира».

19.11.91. Добросовестно пытался писать, пока не почувствовал, что делаю не то, и остановился на догадке, что надо переписать все в другом ключе: рассказ человека, который фантазирует, домысливая непонятное, так что теряется грань реальности — но при этом угадывает точней здравомыслящих.

5.12.91. Поработал. Закончил начерно переводить Кафку. На улицу не выходил. Мокрый снег за окном. Сломался еще один зуб. Напоминание о непрочности жизни. Нарастающее чувство тревоги. Со всех сторон тупики, ловушки, невозможность. Пишут, что продовольствия в Москве осталось на несколько дней. Где-то плетется заговор, новый переворот. Страна разваливается. Реформы кажутся невозможными. Казалось бы, немного знаешь страну, имеешь опыт, слышался о законах экономики и истории — но изнутри ничего предугадать невозможно. Только жить, барахтаться, не терять головы и мужества.

6.12.91. Неплохо поработал. («Музыка»). Что-то я ухватил (еще раз отплеываюсь, чтобы не сглазить). На таком бы уровне прописать до конца, а там можно и совершенствовать.

9.12.91. Неплохо работал, прогулялся с Леночкой по солнечному морозному лесу, готовил и смолил лыжи. Посидел над переводом Кафки. Между тем вчера было решено, что государство, в котором я привык жить, больше не существует. Последствий, по-моему, никто не соизмеряет, обсуждают больше судьбу Горбачева. Хорошего ждать не приходится, надежда лишь на какую-то внутреннюю устойчивость жизни. Руководство явно не владеет ситуацией. Впрочем, вечером Баткин с энтузиазмом приветствовал это решение, считая, что оно принесет только пользу.

11.12.91. Тема Орфея. Почему запрещено оглядываться на того, кого выводишь из царства теней? Оборачиваясь, запечатлеваешь внешние черты — и тем самым омертвляешь уже навсегда. Единственный, кого я никогда не видел (Феликс), жив во мне, потому что я воспринял и воспроизвожу в своей жизни энергию его жизни, его мысли. Подлинное воскрешение — не воспроизведение, не мертвенное повторение, а воссоздающее продолжение. Бессмертие и воскрешение может быть только духовным. Внешнее может быть опорой для духа, но оно же чревато и омертвлением (портретный памятник). Бездуховная, антирелигиозная федоровская идея. Быть может, самая духовная метафора — еврейская талмудическая легенда о воссоздании мира из букв. Буквы — единственное, что может ожить в новой нашей жизни. (Скульптурный памятник и даже движущееся кино не оживают в нас, они лишь подтверждают призрачность ушедшего, иногда иллюзорную. Чем совершенней и правдоподобней

восковая фигура, тем она мертвенней, призрачней). Памятники материальной культуры — всегда именно памятники; ожить в новой, нашей жизни может лишь дух, мысль, обозначенная словом.

13.2.92. Трагизм, глубина, безысходность, грязь, кровь, красота, величие, жалость, распад, старость, любовь, мир.

Постоянно выносит из глубины на поверхность. А надо помнить в каждой клеточке повествования.

17.3.92. Вот смысл катастрофического чувства — и одновременно абсурдная неразрешимость (Беккет):

Если все обернется к лучшему, все жертвы окупятся, дети доделают за нас — тогда в жизни был смысл, и она оправдана.

Если действительно катастрофа, и нет пасты, и дома провалятся — все бессмысленно: все хитрости, победы и пр..

Смерть — конец, катастрофа — или сын продолжит? Сын — расплата или награда? Все зависит от меня. Но и я бессилен, и единственное оправдание — миг любви, зарождение жизни.

18.3.92. Может быть, центральная идея книги: жизнь по-разному видится «изнутри», когда непонятны ее связи, направление и смысл, и откуда-то «извне», когда мы уже не живем и ничего не можем изменить, объяснить другим. Но представить себе этот взгляд имеет смысл.

26.3.92. «Всякое творение есть творение из ничего... Каждый раз в голову приходит новая мысль, и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и очаровательной, нужно отбрасывать, как негодный хлам. Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего — неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность, и чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие». (Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности)

Это буквально обо мне, о моем нынешнем состоянии; оно длится, впрочем, уже многие месяцы, пока я работаю над «Прозрачным туманом». Чувство узнавания — и облегчения: значит дело, может быть, не в моей бездарности, возможно, это признак серьезности, значительности, оригинальности замысла. Хотя гарантии, конечно, нет. И дальше — о том, что даже гениальные люди часто не выносят долго творческой деятельности; приобретая технику, начинают повторяться, к удовольствию публики. «И мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца».

Из рабочего дневника. Читая Шестова. Я все еще робею доводить мысль до трагического предела, все время держусь за какие-то благодетельные надежды. Здесь есть возможность поистине высокой (европейской, не чисто нашей) трагической философии — за предельным крахом возможно и просветление, когда уже ничто не страшно. Крах всякой жизни.

27.3.91. ...Не могу придти в себя после увиденного по ТВ: изнасилованная, простреленная 6-летняя азербайджанская девочка, скальпированные заживо

люди. Кто это сделал? Почему молчат армяне, прежде всего армяне? Что делать мне, как кричать, отворачиваться? Ужас, безнадежность и бессилие.

11.4.92. Снежинки беззвучно опускаются мимо голых ветвей и у земли исчезают.

15.4.92. Утром меня поднял с постели неожиданный звонок из Парижа. Профессор Жорж Нива: «Открытие вашей книги («День в феврале») было для меня очень важным событием». И много других высоких слов.

3.5.92. После затмения умов мы как будто приходим (хотим придти, провозглашаем приход) к общемировым, общеевропейским ценностям (свобода, терпимость, плюрализм).

Но это будет лишь видимость сходства. Наш путь к этим ценностям был иным, и этот путь не отпадает, как пуповина, он остается в нашей памяти, входит в наше знание, в качество ценностей, придавая им особое — наше — значение. Значение мы принесли с собой. Наш путь, наш опыт, наша память — и это наше богатство, возможность нашего особого вклада. Наше духовное поражение — это не то же, что прописи, усвоенные с детства.

17.8.92. Мир без иллюзий и надежд. Ничьи могилы не хранятся больше нескольких веков, считанные мумии фараонов хранились — но лишь несколько тысячелетий, остальные косточки безымянные.

И все-таки мы не можем отказаться от безумной, безосновательной надежды сохранить память, искать смысл. Мы подозреваем, что смысла может не быть, а умрем мы навечно — но в условие нашего рождения входит жить, значит, биться над этой неразрешимой загадкой и противостоять смерти.

4.10.92. Что-то происходит не то, и с миром, и с нами. Вчера по ТВ показывали кадры: мусульмане-боснийцы позируют с отрезанными головами сербов. По радио рассказ о лагерях, где сербы насилуют боснийских и хорватских девочек, держат их, пока невозможным станет аборт — чтобы родили сербов. Грузины бомбят с самолетов Гудауты и Гагры, курортные города. В Таджикистане воюют кланы, убитые исчисляются тысячами, как и в Карабахе. Но может быть, еще страшней, что мы проглатываем эту информацию за ужином и не поперхнемся — привыкли, и это пока не о нас. Невозможно в самом же деле переживать каждый день... Но ведь были времена, когда такие известия заставляли хотя бы некоторых людей молиться и страдать, и просить у Бога милости, по крайней мере ощущать греховность происходящего. Умом-то и мы ужасаемся, но так абстрактно; до костей этот ужас не доходит.

Может, в этом есть и своя правда, может, этим держится жизнь? Ведь и в былые времена не только привыкали к казням, но ходили на них любоваться.

14.2.93. *Из рабочего дневника.* Князев: Все, о чем говорят — каждая на своем языке — мировые религии, имеет реальную подоснову, которую можно выразить и на языке разума, объективных данных. Но разум без воображения бессилён, будущее зависит от способности к синтезу. (И, конечно, музыка — но ее язык подлежит разгадке. Музыка — это шифр, задача для ума).

Князев. Религия почему-то подозрительна к воображению. Переживание, знание должны быть подлинными, ничего выдуманного не должно быть в них привнесено. Как будто эти видения — не перевод невыразимого на общепонятный.

Князев: Я говорю не о том воображении, которое можно считать произвольным комбинированием мыслей и впечатлений. Нет, подлинное воображение — когда мысль или образ приходят неизвестно откуда (не можешь объяснить, откуда), но это — знание о запредельном.

Подлинное воображение — весть о запредельном. Ее умеют улавливать те, кого мы называем гениями. Но они к тому же умны и мастеровиты, они умеют подыскивать своим догадкам, прозрениям слова, формы, образы, переводят их на язык общепонятных мыслей — а это уже компромисс. Вот бы найти чистое знание!

Князев. Подлинные озарения даются обострением, концентрацией чувств, на которые человек редко бывает способен в обычной рассеянной жизни. Надо довести его до края и даже вывести за предел... Почему это запрещено? Я же не для себя стараюсь. Эти мозги что-то дадут человечеству. (Непозволительный экспериментатор. А в результате гибнут и мальчик, и Феликс).

Может быть, Князев чувствует себя спасителем мира — через меня. «Я (т. е. Князев) сам не могу: слишком много интеллекта, я не вижу или не помню снов, но я способен ухватить. Понимаешь? Перевести на язык объективных понятий». Он готов принять помощь и от государства, и от карательных органов. «Но они все портят, потому что я не могу открыть им свой замысел».

М. б. идея Князева: Я (Кн.) хочу спасти мир, я в отличие от других предчувствую иррациональную катастрофу; но для понимания мне нужен «медиум», не столько разумный, сколько гениальный, не интеллект, а художник.

Почему я его боялся? Ведь он говорил так правильно: о служении людям, восстановлении полноты личности... Может быть, потому, что сам он казался мне инвалидом, ищущим для себя протез в чужих душах... тогда он наслаждался. (Он и сам о себе так говорил).

Князев за кулисами всего сюжета (который выходит из-под его контроля)... Его не смущает, даже радует трагедия моей жизни и общая катастрофа. Надо дойти до предела — тогда мы поймем что-то важное.

М.б., развитие моей фантазии: мы не бежим в этот город от Князева (как я думал и надеялся). Наоборот, он провоцирует нас на переезд, соблазнив слу-

хом о пасте. (Сам понимая, что это чепуха). Здесь, в замкнутом городе, проще проводить эксперимент.

23.2.93. *Из рабочего дневника.* М. б. меня Князев использовал для расшифровки чужих снов и пр.. Я видел то, чего не могли показать его приборы. Или он давал мне слушать музыку.

И при всем том чувство, что я сочиняю д-ра Князева. Но откуда я знаю то, что сочиняю о нем? Откуда это приходит на ум? И почему получает продолжение в реальности, переплетается с ней? Неужели он прав, и игры моего воображения не совсем произвольны?

М. б., я Князеву: Вы приучили меня мысленно говорить с вами, даже когда вас рядом нет. Я так втянулся в эту игру, что время спустя не уверен, в самом ли деле говорил с вами или вас выдумал.

— Ты не смущайся, это обычная слабость художественных натур.

Князев — фанатик правды. Вам (тебе) хочется щадить себя, я понимаю. Но, может, надо собой пожертвовать. (При всем том, что я разговоры с ним сочиняю).

Кн.: Есть люди (ты, Феликс), которым дано запредельное знание, способное нас спасти. Нам мешают близорукость, корыстность властей — и ваше собственное желание щадить себя, нежелание дойти до конца.

26.2.93. Дочитал свой текст — как пожевал стружку: никакого вкуса. Едва одолевал сонливость. Сходил на лыжах, недалеко: метет снег, лыжни не видно...

28.2.93. *Из рабочего дневника.* Мне все время говорят: какой вздор ты сочиняешь! Что ты придумываешь? Ты не знаешь реальной жизни. Но Князев не пренебрегает этим. Наоборот. Они тебе цены не знают. Ты сам себе цены не знаешь. Откуда это приходит?

3.3.93. С утра посидел над работой. Замысел опять трансформируется: на первое место выходит тема воображения (а не памяти). Впрочем, все предыдущие темы и повороты мысли продолжают жить в веществе прозы, определяя ее насыщенность.

18.3.92. *Из рабочего дневника.* Одна из важных общих идей: наша жизнь не ограничена отпущенным нам сроком, она продолжается в обе стороны, связана с прошлым и будущим. От наших сегодняшних действий зависят судьбы живших прежде и тех, кто будет жить потом. (Катастрофой кончается отдельная жизнь, и всегда остается надежда).

30.4.93. *Из рабочего дневника.* Попытка приспособиться к катастрофе (ощущаемая начальством) — ложна, пока мы не перевоссоздадим основы бытия, не поймем, что нужен труд мысли, самопожертвования.

«В условиях неминуемого развала, в силу того, что уже поздно, все, что ни делай, ищи правду или неправду — пойдешь по пути бессмыслицы. Внутри та-

кой ситуации действовать и мыслить невозможно. Основы цивилизации подорваны. Мир полон неоплаканных жертв, залит неоплаканной кровью». (М. Мамардашвили).

Князев — не просто «злой демон», в его требованиях есть большая, трагическая правда. Недаром я его боюсь. Это требования не для всех (но ради всех, ради других).

Чувство: какой-то мой двойник — или я сам — однажды понял, узнал нечто невыразимое и вновь для меня утерянное — и я должен слиться с ним, достичь его, придти к себе самому издалека.

2.5.93. *Из рабочего дневника.* Князев: Ты (вы) самый благодатный материал. Все уже слишком знают, как надо и как можно, как правильно жить. Тебе каждую мелочь приходится решать самому, но при этом ничто не становится ясным окончательно и насовсем (из-за особенностей памяти).

Папа и мама. Это все надежда: я могу быть подлым сегодня, чтобы быть безупречным завтра. А завтра никакого нет.

Чувство невозможности выйти из кризиса из-за неспособности назвать то, что происходит. У кого нет памяти, у того нет будущего.

Мама: Мы боимся не опасного слова, а непонятного, мы не способны, не хотим прояснить своих страхов.

Князев: Нужна последняя ясность, без этого все развалится.

— Но разве это возможно?

— В пределах жизни и рассудка — нет.

М. б. чувство, что на листке было что-то важное — лишь после того, как он был утерян. А вначале — только предчувствие, какое-то бормотание.

Не так уж важно вспомнить, что там реально было, важно чувство, что было что-то важное — и усилие воспоминания, равноценное рождению нового смысла. Каждый текст — в какой-то мере повод для создания нашего собственного.

17.6.93. Вдруг чувство ужаса: у моего героя умирает отец, а мать сходит с ума. Но может, мне надо довести их до конца, до последней главы, вывести на свет? Работал над гл. 22. Давление, огромная усталость.

28.6.93. *Из рабочего дневника.* Голос: может, то, что нас пугает впереди, называется свобода, она всегда пугает нас. Но может, после этой ночи обновится жизнь.

5.7.93. *Feldafing.* *Из рабочего дневника.* Выйти за пределы советской тематики. Время переломное для всей цивилизации. Нам обещали разумное, гаранти-

рованное устройство жизни (допустим, паста даже не обман). Вначале на ограниченной территории. На всех не хватит.

Закрытость города: не только наша проблематика, но и попытка Европы отгородиться. Всех не прокормишь. Сначала хотели отгородить город, потом — зону. (Обсуждать на уровне Кафки).

10.7.93. В чем моя вина? (сквозная тема). В неспособности понять обращенный ко мне голос, в неспособности выполнить предназначенную мне миссию — что бы ни говорили о причинах, главная причина всегда во мне. Если бы я оказался достойным себя, ничего бы не случилось. (!)

19.7.93. С наслаждением стал перечитывать Мамардашвили — как он стимулирует мысль! Какой умница! Конечно, от мыслей до повествовательной плоти — огромная дистанция; но я почувствовал, что и мысль моя еще не додумана, не прояснена.

Важная мысль при чтении М. Мамардашвили: «С любых высот культуры можно сорваться в бездну... Хаос и бескультурие не сзади, не впереди, не сбоку, а окружают каждую историческую точку». (144)

Т. е. хаос в любой момент вокруг нас, и никакие ценности, достижения, механизмы, традиции не дают гарантий. Пример — Германия, да и Россия, и Югославия. Мысль, дух должны трудиться, не расслабляясь, в любой момент заново — лично для каждого и для всех вообще.

1.9.93. Из рабочего дневника. На выставке Руо в Зальцбурге прочел его фразу, смысл которой: христианское чувство вины за страдания этого мира, которые ты никак не можешь облегчить. Это не чувство нормального человека, для этого надо быть таким дураком.

4.9.93. Из рабочего дневника. Проблематика экзистенциальная, не чисто наша: понимаем ли мы что-нибудь в нашей жизни, представляем ли мы себе дальнейшее, что мы можем назвать по имени? Здесь просто раньше вообразили, что нашли абсолютное решение, поэтому раньше ощутили крах. Здесь все хотят считать себя избранниками, счастливыми.

18.9.93. Чувство, что я не совладаю с темой, не введя в нее (не выведя ее в) «метаисторическое» измерение. Неспособность понять, куда мы идем, зачем мы живем: общечеловеческая, вековая проблема, обострившаяся к исходу XX века. Конкретные видения разных веков, времен — не только моей жизни.

Постоянное чувство, что я сочиняю эту жизнь, почему-то именно так, а не иначе — и ничего не могу с собой поделать. Отсюда чувство вины.

24.9.93. ...Беседовал с Дубравкой Угрешич. Она повторяет: «Сараево — это город будущего, благополучие и мир в Европе так же ненадежны, как в Югославии. Достаточно небольшого сбоя: отключили свет, воду — и может начаться безумие (как началось побоище в Лос-Анжелесе). Ошибка думать, что в Югославии — просто дикие балканцы. Посмотрите ТВ: какие у них прекрасные виллы, и не у богатей, у простых рабочих; как многие из тех, кто, изможденные, без

зубов, выходят из осады, прекрасно говорят по-английски. Эта страна жила в каком-то отношении даже лучше Запада — не заметили, как сползли в безумие, и теперь неизвестно, как и когда из него смогут выбраться. Мужчинам просто нравится убивать, это уже война убийц, уголовников. Черногорцы, которые штурмовали Дубровник, вернувшись к себе, ушли в горы и теперь нападают и грабят своих, растлевают, насилуют. А стоит посмотреть на эту армию, как они покидали захваченный город, унося детские велосипеды для своих детей. Это убийцы, грабители, вошедшие во вкус убийства, грабежа. Уже давно нет единой, регулярной, управляемой армии, военные действия ведут мелкие банды, поэтому их трудно контролировать и остановить. Германский фашизм все-таки подчинялся какому-то порядку: кого-то, по категориям, в газовую камеру, кого-то на работу и т. п. Здесь убивают, не разбирая, детей, стариков, чужих, своих. К власти пришли известные уголовники, за которыми давно охотится Интерпол (она назвала фамилии). Теперь это депутаты парламента, дают интервью (тот же Караджич). Как же они откажутся от такой жизни? Я верю женской интуиции: Запад все-таки не защищен от такого безумия». Я ответил, что вывод по крайней мере один: надо внимательно следить за развитием событий и стараться что-то понять, что-то предотвратить, во всяком случае противостоять националистическому безумию.

Между тем каждый час включал приемник и слушал новости из Москвы. Похоже, Ельцин упрочивает свое положение, но до нормальной работы еще далеко...

26.9.93. Решил перед началом работы прочесть дискуссию и прозу в возвращенном мне вчера «Стрельце» — и задержался на рассуждениях Виктора Ерофеева о «зачарованности» современной литературы злом. Как всегда, что-то в его умных рассуждениях мне чуждо и вызывает сопротивление — но как всегда, он умно и формулирует то, перед чем я останавливаюсь. Действительность XX века, особенно в России, показала, что силы зла значительней, чем это представляли себе русские классики 19-го века, даже Достоевский, и это надо осознать, не убаюкивая себя рассуждениями о надежде. (Некоторые пытаются в своем творчестве как бы «заколдовать» зло, есть другие способы вступить в отношения со злом, например, цинизм или юродство). Это совпадает с тем, о чем я размышлял во время работы, и с разговорами Дубравки Уг্রেшич: что-то непредвиденное, не сулящее надежд происходит с нами на исходе XX века, 2-го тысячелетия, и этого не обойдешь, не заколдуешь. Главное, что вызывает у меня сопротивление в мыслях Ерофеева: он считает достаточным осознавать и отражать, документировать эту духовную ситуацию, как бы эстетизируя ее; я — может быть, старомодно — считаю, что злу нужно сопротивляться, и литература, искусство по сути своей этому служат. Но такую позицию можно свести и к этому самому желанию «заколдовать» зло, отвернуться от него, оставаясь по сути равнодушным, успокаивать людей утешительными силлогизмами и фантазиями.

Сразу, как всегда, множество новых мыслей: вот сейчас бы иметь впереди 3 свободных месяца для работы... Нет, надо еще думать, надо медленно проби-

ваться к глубине, к значительному слову. Желание поскорей подтвердить репутацию суетливо.

Из рабочего дневника. После чтения В. Ерофеева. Цинические поиски Князева: творческие натуры вроде вашей хотели бы заколдовать зло. Пока мы не пробьемся к правде, к истине, мы не избежим трагедии (или это не его мысль). Феликс это чувствовал (какие-то страхи) — которые рождают у меня видения, но я их отгоняю.

Тема зла, обретшего невиданную, непредсказуемую силу в XX веке (м. б. особенно в России): поколение бабушки не предвидело этого. Все было так прекрасно задумано. И особенно то, что произошло к концу века, к концу тысячелетия. (Югославия, все современные безумия).

27.9.93. Из рабочего дневника. Я выздоравливаю от безумия. Все ясно, просто. Я, м.б., не знаю, что произошло и какое сейчас время. Меня не видно. Я потерпел поражение. Я не могу ничего сказать. Но значит, еще ничто не окончено, для чего-то нужен и я.

13.10.93. ...Читал в газетах о геноциде в Сухуми: насколько слюнявы мои фантазии о катастрофе. Надо писать на уровне такой реальности. Но могут ли это быть те самые абхазцы, которых научил меня любить Фазиль? С болью думаю о нем: военные победители обречены на нравственное вырождение. Не могут пройти для народа бесследно убийства соседей грузин, грабеж, мародерство. Душа целой нации искажена.

17.10.93. *Из рабочего дневника.* Толкование финала. Нирвана значит угасание. Угасание привязанностей. Великое молчание, выход из страдания, освобождение от смыслов, интеграция со всеми, без любви, без предпочтений, без боли. М. б., мне это не удастся. Я продолжаю любить.

10.12.93. Работал над гл. 17 — и кажется, приблизился к очень важным решениям (о связи хаоса внутреннего и внешнего, о чувстве вины за это, о 36 праведниках — то, что можно объединить в сюжет единым поворотом взгляда)...

21.12.93. Перед работой взял почитать подборку в «Вопросах литературы» о трагедии, потом еще раз выступление В.Ерофеева о зле — и неожиданным боком пошли собственные мысли... Возможно, он вносит необходимую поправку в мое мироощущение, предостерегая от прекраснотушия. Но для него зло есть изначальный и конечный феномен бытия, делающий бытие в основе своей бессмысленным. Я исхожу из того, что само существование (возможно, до поры до времени) мира свидетельствует о победе принципа гармонии над хаосом, жизни над смертью, добра над злом (в конечном счете, и, повторяю, может быть, не навеки). Во всяком случае, дело искусства — вносить в мир гармонию, форму, красоту, добро, т.е. служить им (не пренебрегая принципом противоположным, вот в чем оговорка).

(Только что перечел рассуждения Ерофеева еще раз: внимательного разбора они не выдерживают. Интересно, с ним и не спорят. Как будто половодье

зла в нашей жизни и в наш век служит достаточным подтверждением его тезисов).

Из рабочего дневника. Еще раз: обрывок на листке — набросок или конспект будущего сюжета, который реализуется. Можно ли предотвратить катастрофу? Трагедия, возрождение через смерть.

М. б., содержание листка (пересказано не сразу, а порциями, по памяти): все уже произошло. И произошло потому, что я не сумел. Возможно ли что-нибудь предотвратить? Нужно бесстрашие и точность. Мне не хватило.

10.1.94. *Из рабочего дневника.* Можно ли видеть то, что будет? И если увидишь, можно ли что-нибудь изменить, чтобы видение твое оказалось ложным? А если нет, чего стоит твоя жизнь, и не подобен ли ты мертвецу, который смотрит на жизнь извне, и голос его не слышен?

Вот в чем смысл постоянного чувства: живем ли мы, значим ли что-нибудь в этой жизни, осознаем ли происходящее с нами? Или, оглянувшись, чувствуем, будто прожили жизнь автоматически, по инерции, лишь бы выжить?

Все без морализаторства: может быть, таково условие несовершенной жизни. Лишь немногим удается вырваться из автоматизма, осознать — и это может быть страшно.

17.1.94. Бьюсь над работой с чувством, что замысел с самого начала был ненормален, непосилен, мне самому по-настоящему непонятен. Но, может быть, именно отчаянные попытки осилить его и выведут меня на какой-то уровень, при нормальном замысле и нормальной работе невозможный. Я чувствую, как мог бы вырасти на этом неподъемном усилии (если не надорвусь — гарантии нет). Ничто меньшее меня теперь не устроит, мне это неинтересно, вот в чем ловушка. А надежда в том, что ничто меньшее и невозможно, меньшее будет просто провалом, вымученными словесами (на каковые пока что все и сбивается). Или осилю то, что мерещится — или все надо будет выбросить, ограничившись на будущее эссеистикой, которая меня давно уже поджидает и вполне способна поддержать мое имя, не более того — но и не менее.

26.1.94. Мысли по поводу работы: чувство вины и ответственности связано с тем, что все страшное в мире порождается внутри нашей души, с агрессивностью, трусостью, нечеткостью мысли и пр.. Вот в чем смысл: вспомни! Но как с этим совладать? Чувство, что работать придется еще долго. Зато, может быть, действительно что-то пойму в жизни, в мире, в себе, в литературе. После каждого такого поворота мыслей осознаешь, как беспомощно написанное до сих пор.

Из рабочего дневника. Вина (потенциальная) каждого — в способности пробуждения агрессивности, злых инстинктов, иррациональности и пр.

Тема мамы: то, что придавало нам человеческий вид, казалось гордостью и пр., на самом деле, на поверку, оказалось внешним. (Сдерживающие внешние условия, страх, религия). На одном позвончике трудно держаться.

31.1.94. ...Угнетающее чувство, что 4 года топчусь едва ли не на одном месте, и даже кое-что с тех пор потерял. Некоторые забытые листочки вернул в рабочий обиход. Момент уныния: а вдруг так ничего и не получится? Холодок поражения... Нет, еще поборюсь...

3.2.94. Не выходя на улицу, поработал с утра до вечера. Надо в конце концов сосредоточиться и довести работу до конца...

8.2.94. Нация и аристократизм. Аристократизм — то, что дается от рождения, а не заслугой. Если всякое происхождение дается от рождения, можно говорить о принадлежности к сословию избранных — или к избранной нации.

Нет, для меня значителен лишь аристократизм духовный. Это всегда оставляет надежду: что-то, может быть (но вряд ли все) зависит от тебя.

20.2.94. Нет, искусство — это не уход от реальности и не создание другой. Разве помимо искусства мы знаем, что такое жизнь? Мы не знаем, как мы рождаемся и умираем, что такое наш разум и наша речь, что такое время, любовь и бесконечность. Для объяснения мы вводим понятие Бог, хотя не знаем точно, что этому понятию соответствует в так называемой реальности, что такое эта реальность. И это уже акт творчества и воображения.

8.3.94. Из рабочего дневника. Основное философское чувство: невозможность (и попытка) проникнуть в загадку жизни (и смерти). Пусть по-дурацки — другие просто не пытаются, потому что стесняются себя.

15.4.94. Люди в разных странах живут, озабоченные своими сегодняшними делами, не представляя, куда несет их всех и мир в целом. До сознания некоторых доходит близость экологического кризиса, обреченность гонки производства и потребления, демографический тупик, распространяющаяся угроза СПИДа, националистических и религиозных войн, атомной катастрофы.

Я слышал о клубе мировой элиты, «совете богов», влиятельных людей разных стран, которые, собираясь время от времени, обсуждают положение дел и возможные рекомендации. Кому? Понимает ли кто-нибудь механизм мировых событий, его рациональные и иррациональные пружины? Мне мерещится новое знание об узловых точках мирового тела, воздействуя на которые — как на точки тела человеческого — можно стимулировать или заглушать мировые события.

27.4.93. Вчера взял почитать статью А. Якимовича о постмодернизме и современной духовной ситуации (ИЛ № 1, 94), и вдруг прояснилась мысль, очень важная для работы и для меня лично: в сущности, я пишу роман о попытке дурацкого сопротивления господствующим тенденциям времени, сопротивления непоследовательного, не всегда осознанного, с блужданиями, отступлениями — дурацкого, потому что никаких концепций мой герой (как и я) не способен усвоить, не пропустив через себя — а организм отвергает... Впрочем, я записал кое-что на отдельном листке и буду, наверно, осмысливать дальше...

Я все больше осознаю, как чужды мне новейшие «постмодернисты» (или как их назвать), для которых не существует моральных категорий, иерархии ценностей («незыблемой скалы»), для которых «сталинское» и «фашистское»

искусство — стилевые течения, равноценные с прочими, вне моральных оценок. Им кажется, что они мыслят абсурдно. Нет, абсурдно мыслю я, вопреки их логике.

17.5.94. Insel Hombroich. ...Вчерашний концерт Дьердя Куртага один мог бы оправдать мое пребывание здесь. Неожиданная, потрясающая, почти лишенная мелодии музыка... Несколько мыслей по этому поводу. Не такой ли музыкой был *Schlußakkord von Leverkünschen Flügel* (заключительный аккорд Лерверкюновского рояля), о котором я накануне читал эссе? Я вечером задал ему за столом этот вопрос. «Нет, — сказал он, — та музыка была слишком рассчитана, а у меня идет изнутри». Еще: почувствовал, что надо бы и мне в моем романе эпизоды безумия делать по крайней мере не такими логичными. Еще: как много можно выразить на очень коротком пространстве. Я сказал ему об этом, он засмеялся: «Да, я читал об этом у вас»...

18.5.94. Insel Hombroich. Из рабочего дневника. Под влиянием кхмерских скульптур: картины художника. Он ощутил страх, увидев, как штрих, поднимающий или опускающий уголки губ, создает улыбку или гнев, пятно белил блестит солнечным бликом. Но произошло еще худшее, краски начали разлагаться, обнажились внутренности, как на ободранной мясной туше.

Художник не подозревал о жизни этого, он рисовал красивые поверхности, забыв (как все мы) о смерти, болезни, несчастье.

Женщина шла ко мне, держа в руках груди, и на ходу расплзлась кожа, превращалась во внутренности, улыбка превращалась в оскал — ей было весело.

Собаки пожирали окровавленные внутренности освежеванной собаки, не замечая, что собственной шкуры на них не осталось.

Под влиянием музыки Куртага и Шенберга, тестов Беккета и Св. Георга: ввести в голоса персонажей элементы религиозного и в то же время абсурдного *de profundis*. Господи! Да что же такое жизнь? Почему так темно и страшно? Что с моими мозгами или миром? Есть ли спасение?

Не спешить, не мельчить, возвести эту работу в перл высокого, трагичного, небывалого создания.

22.5.94. Insel Hombroich. Из рабочего дневника. Чувство *fin de siècle*. Мы не знаем, куда движемся, в какую более общую систему, возможно, включены, в каких мирах существуем. Только в момент безумия (или смерти? — в любом случае перемены сознания) нам открывается что-то.

23.5.94. Insel Hombroich. Из рабочего дневника. (После исполнения *Trio Fluido*, Н. Lachenmann). Лопаются пузыри, рассыпаются в брызги миры, населяющие их — с семейными сценами, цветами, испражнениями. Для кого-то из другого измерения мы копошимся внутри.

(После исполнения *Kammersymphonie von Schoenberg*). Из головы под свист разбойничьего инструмента вылетел кусочек мозга с освещенным уголком, где в комнате двое летали вверх тормашками и не могли схватиться за руки.

27.5.94. *Из рабочего дневника*. Нам приходится обитать в хаосе, в неупорядоченном мире. И самое большое, что мы можем — внести в него видимость порядка и разумности. Если даже этого не удастся — тогда все. Тогда мы оставлены. (Казин).

Я не понимаю этого мира, но (как Робинзон) пытаюсь приспособить его для жизни, вводить видимость порядка и разумности. И это безумие (в котором есть своя система), оказывается, работает.

По-настоящему вспомнить себя — значит, прорваться к чему-то, большему, чем ты, выйти за свои пределы. (Не просто вспомнить себя — прорваться сквозь оболочку). Чтобы вспомнить себя, надо сначала себя потерять.

29.5.94. Перечитываю работу с чувством, что все еще надо переделывать и переосмысливать... И отдельному человеку, и всему человечеству надо увидеть жизнь как бы из другого измерения, чтобы понять смысл и цену всех частных. Но при этом каждая клеточка должна быть наполнена плотью, бытом, житейскими историями, историей.

Замысел становится все претенциозней (а впрочем, он с самого начала был таким, я только иногда это забывал). Но в литературе сейчас может иметь смысл только действительное слово, все остальное мне скучно и читать, и писать. (Листал принесенные мне вчера номера «Знамени» — ни во что не могу углубиться, выталкивает на поверхность)...

Холодно, в лесу еще не распустились ландыши, но уже щелкает соловей...

1.6.94. Холодно, дождь, немного простужен. Кончил перечитывать повесть. Мысль о возможности скоро ее кончить, конечно, иллюзорна и даже комична. Все-таки уже что-то есть. Степень абсурдного обобщения даже больше, чем мне представлялось; удалось в значительной мере уйти от «наших» аллюзий. Это должна быть книга о мире и человеке. Надо избавиться от невнятицы, четче прорисовать сюжет, углубить и уточнить мысль, поворот взгляда, язык. Возможно, удастся не отвлекаться...

27.7.94. Галя вчера прочитала 17 глав, говорит, что невозможно оторваться.

Посидел над последними двумя главками. Пожалуй, сегодня работу можно считать сделанной. Не законченной, не завершенной — еще будет много уточнений, дополнений, сокращений, но это будет уже доработка. А роман «Возвращение ниоткуда» сегодня уже существует.

Как-то даже неожиданно.

Нет, торопиться все равно не надо, над совершенствованием стоит посидеть еще долго. Но, пожалуй, замах, заданный себе в начале, я в значительной мере осуществил.

31.7.94. Весь день перечитывал «Возвращение», с первой до последней главы, кое-что подчищал, сокращал, еще кое-что придется подчистить — но я наконец с облегчением подтвердил себе, что вещь существует.

Прогулялся по лесу, немного хозяйничал... Мы шли среди небывало высоких трав: золотые грозди пижмы в человеческий рост, громадные лиловые васильки. «Какой прекрасный мир», — сказал я. «А что ты с ним делаешь?» — сказала Галя.

Но я ведь не гублю его в своих строках, наоборот, хочу удержать от гибели.